



# ГЕНИИ В ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ



# ГЕНИИ В ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ

МОСКВА  
«КРОН-ПРЕСС»

ББК 88.5 РОФ  
Г34

Оформление  
В. ОСИПЯНА

Составитель  
Г. ГАЕВ

Г34      Гении в частной жизни/Сост. Г. Гаев. — М.:  
КРОН-ПРЕСС, 1999. — 224 с. — Серия «Экспресс».

**ISBN 5-232-01081-6**

Гении всегда были загадкой для простых смертных, а их частная жизнь вызвала особый интерес. Какие они в быту? Такие же тщеславные и заносчивые, застенчивые и робкие, обремененные предрассудками и слабостями, как и мы с вами?

Книга, которую вы держите в руках, поможет вам разобраться во всех этих вопросах.

## ГЕНИИ — ТАКИЕ ЖЕ СМЕРТНЫЕ, КАК И МЫ

С подобным мнением ни за что не согласился бы Сальвадор Дали. Для него гений и обычный человек — создания разных планет. Правда, при этом надо принять во внимание, что для Дали гением был только он — «божественный» Дали! Художник написал книгу «Дневник одного гения»<sup>1</sup>, в которой рассказал о своем образе жизни, о своих пристрастиях, привычках, мнениях. Целью его было доказать, что даже повседневная жизнь гения — его сон, его пищеварение, его сексуальная сфера да и вообще все: ногти, насморк, кровь, моча, кал, жизнь и смерть, наконец, — совсем иные, нежели у обычного человека.

Главную мысль Дали провозгласил на первых страницах своей книги, притом не в виде гипотезы, а как истину в конечной инстанции, которая, собственно говоря, как и Бог, в доказательствах не нуждается. «Еще со времен Французской революции, — пишет он, — появилась эта дурацкая, кретинская мода, когда все кому не лень воображают, будто гении (оставляя в стороне их творения) — это человеческие существа, более или менее похожие на всех остальных простых смертных. Все это чушь».

Мы вовсе не ставим перед собой задачу опровергнуть Дали. Его мнением можно было бы просто пренебречь, поскольку оно совпадает с одной из многих теорий о сущности гениальности, занимавших умы людей со времен античности и особен-

---

<sup>1</sup> Дневник одного гения. М., 1991. Перевод с французского О. Захаровой.

но в XVIII веке. Мы хотим лишь высказать нашу скромную точку зрения: гении, несмотря на весь трепет, обожание и преклонение, которые всегда вызывали у простых людей выдающиеся личности — такие, скажем, как Александр Македонский или Юлий Цезарь (впрочем, в Древнем Риме с еще большим обожанием относились к олимпийским чемпионам или победителям на гонках колесниц) — все-таки не боги, а люди, тщеславные и заносчивые, застенчивые и робкие, отнюдь не лишенные таких же предрассудков и слабостей, что и мы с вами.

Разве не странно, что Дали говорит о Боге, как будто знает его лично. Бог, на его взгляд, это человек с очень красивой внешностью. Рост его — ровно один метр. Дали рассуждает о том, что вряд ли Бог носит бороду, как социалисты, да и насчет усов он не вполне уверен. Но что касается его роста, то тут у Дали нет никаких сомнений. Бог, по его мнению, крепкого сложения и состоит из плотной материи. Бог — это ядро невероятной плотности. Благодаря этому свойству фигура ростом в один метр способна вобрать в себя всю энергию Вселенной. Когда энциклопедисты создавали метрическую систему, они бессознательно руководствовались идеей Божьего роста.

Кто знает, может быть, Дали прав. А возможно, и ошибается. Ошибаться — одна из привилегий человечества. Во всяком случае, небольшой кусок дерева, с которым Дали не расставался, помогал ему больше, чем его метровый Бог. Дали утверждал, что с тех пор, как нашел этот великолепный кусок дерева, он освободился от всех предрассудков и страхов. «Я могу делать все, что хочу, лишь бы мой деревянный фетиш был рядом». Он наткнулся на это необыкновенное полешко «при загадочных обстоятельствах» и всегда носил с собой. Однажды он его потерял. Это произошло в лондонском Ковент-Гардене. К счастью, фетиш нашелся. В другой раз полешко пропало в гостинице «Сан-Мориц» в Нью-Йорке. Деревяшку унесли с постельным бельем. Дали поставил на ноги всю обслугу, они перетряхнули все белье, и нашли-таки обрубок дерева, без которого Дали уже просто не мог жить. Дали говорил, что стоит ему прикоснуться к своему идолу, как все страхи улетучиваются.

А страхи преследовали даже «божественного» Дали. «Я ведь в глубине души трус, — признавался он, — я все время боюсь, что судьба обернется против меня». В то же время художник утверждал, что владеет ключом к Вселенной. Точнее, почти владеет. «Дело в том, — пишет он, — что в середине дня, когда меня клонит в сон, в мой мозг поступает очень важная, упорядоченная, но трудно расшифровываемая информация. Если бы я мог понять те гипнотические картины, которые мне присылаются, я бы имел ключ к Вселенной». «Божественный» специально отпустил бороду и длинные усы с тонкими кончиками, уход за которыми требовал больших усилий, чтобы, используя их как антенны, лучше воспринимать приходящую к нему из Космоса информацию. Усы служили антеннами для приема моментальных снимков Господа Бога, предназначенных лично ему — Сальвадору Дали, человеку, который в шесть лет хотел быть кухаркой, — заметьте, не поваром, а кухаркой, — в семь — Наполеоном, а потом пришел к убеждению, что нет более высокого жизненного предназначения, чем быть тем, кем является он, Сальвадор Дали. Если кто-нибудь вступал с ним в спор, Дали пояснял: «Единственное различие между безумцем и мною в том, что я не безумец».

М. Горький в книге «Люди наедине сами с собой» рассказывает о чудачествах великих людей, которые ему довелось наблюдать, и эти люди тоже отнюдь не безумцы.

«...Я видел, — пишет он, — как А. Чехов, сидя в саду у себя, ловил шляпой солнечный луч и пытался — совершенно безуспешно — надеть его на голову вместе со шляпой. И я видел, как неудача раздражает ловца солнечных лучей, — лицо его становилось все более сердитым. Он кончил тем, что, уныло хлопнув шляпой по колену, резким жестом нахлобучил ее себе на голову, раздраженно отпихнул ногой собаку Тузика, прищурился глазами, искоса взглянул в небо и подошел к дому...

Он же долго и старательно пытался засунуть толстый красный карандаш в горлышко крошечной аптекарской склянки. Это было явное стремление нарушить некоторый закон физики. Чехов отдавался этому стремлению с упрямой настойчивостью экспериментатора.

Л. Н. Толстой тихонько спрашивал ящерицу:

— Хорошо тебе, а?

Она грелась на камне в кустах по дороге в Дюльбер, а он стоял перед нею, засунув за ремень пояса пальцы рук. И, осторожно оглянувшись вокруг, большой человек мира сего сознался ящерице:

— А мне — нехорошо.

Однажды кто-то застал Н. С. Лескова за такой работой: сидя за столом, высоко поднимая пушинку ваты, он бросал ее на фарфоровую полоскательницу и, «преклоня ухо» над нею, слушал: даст ли вата звук, падая на фарфор?»

Между тем гении подчас допускают грубые ошибки. Пример тому — Иммануил Кант. Великий философ лишь на основе увиденного или прочитанного делал далеко идущие выводы, непонятные людям с менее изощренным умом. Одно из фундаментальных открытий Канта заключается в том, что одной силой ума, то есть только лишь посредством логических умозаключений, невозможно прийти к познанию истинной природы вещей, а также их причинно-следственных связей. Невозможно постичь реальность — учил Кант — и на основе одних лишь ощущений. Путь к истине извилист и сложен.

Как выяснилось, этот путь оказался непростым и для самого Канта, о чем свидетельствует его причудливая гипотеза происхождения клопов, которую он выдвинул на основе собственных наблюдений. Дело в том, что спальня философа выходила на солнечную сторону, и, чтобы защититься от солнечных лучей, Кант распорядился держать жалюзи опущенными. Однажды, когда философ уехал на несколько дней, слуга забыл об этом распоряжении. Кант вернулся домой и — о ужас! — обнаружил, что в комнате клопы. Поскольку он знал наверняка, что до отъезда их не было, и исключал возможность, что он прихватил их в дороге, философ пришел к логическому умозаключению, что появление клопов вызвано солнечными лучами, освещавшими комнату во время его отсутствия. Естественным продолжением этой посылки было распоряжение снова изолировать спальню от солнечного света, чтобы клопы, лишенные живительных лучей, передохли.

Кант был абсолютно уверен в правильности своих умозаключений и в качестве доказательства приводил тот факт, что, как только жалюзи в спальне снова были опущены, клопы исчезли. Всю жизнь он хранил убеждение, что темнота способствует уничтожению вредных насекомых. Великому философу так и не открылась истинная причина. Его ученик Васьянский, который с 1794 года взял на себя заботы о быте выдающегося мыслителя, рассказывал впоследствии, что он попросту велел тщательно перетряхнуть постель и проверить всю спальню. «Что же касается окон, то они открывались каждый день, чтобы в комнате был свежий воздух, но только в те часы, когда Кант уходил из дома».

Ошибка Канта носила комический характер. Отнюдь не столь невинным оказалось ложное умозаключение молодого Зигмунда Фрейда. Основатель психоанализа тогда только начинал свою карьеру. Он был помолвлен, но свадьба откладывалась по материальным соображениям: родители невесты полагали, что будущий супруг их дочери должен обладать достаточными средствами. Не приходится удивляться, что Фрейд буквально бредил всякими идеями, которые сделали бы его знаменитым и принесли бы ему славу и богатство. В письмах невесте Марте Берне, которая жила далеко от Вены и которой он за долгое время затянувшейся помолвки написал более девяти сот писем, речь постоянно идет о разных проектах, которые позволили бы им осуществить заветную мечту.

Вот что пишет 27-летний Фрейд об одном из таких проектов: «Я сейчас читаю о кокаине, содержащемся в листьях коки, которые жуют индейцы, когда надо снять напряжение. Один немец попробовал кокаин на солдатах и доказал, что кокаин делает их очень сильными и энергичными. Я хочу добыть это средство и испробовать его. Может быть, это — фикция, но я не хочу отказываться от экспериментов, да ты и сама знаешь, что, если иметь сильную волю, цель обязательно будет достигнута. Нам достаточно, чтобы хорошая карта выпала только однажды, и тогда мы сможем обзавестись собственным домом...»



В то время (1883 год) о кокаине знали еще мало. Фрейд читал, что морфинистам удавалось избавиться от наркотической зависимости, если вместо морфия им давали кокаин. Он решил испытать препарат на одном из своих коллег, который из-за постоянных болей вынужден был принимать все большие дозы морфия и в то же время отчаянно пытался избавиться от пристрастия к наркотику.

Вначале Фрейд испробовал кокаин, приобретенный в кредит, на самом себе. Он принял пять миллиграммов и сразу же стал необыкновенно весел и оживлен. Он чувствовал себя «как после хорошего обеда, когда ни о чем, ну буквально ни о чем не думаешь». Он был в восторге и посчитал кокаин «волшебным средством, которое не только возбуждает человека, но и увеличивает его возможности». Фрейд немедленно переслал немного кокаина своей невесте, чтобы она «была сильной и крепкой», давал кокаин своим сестрам, рекомендовал его друзьям и знакомым. Он написал и опубликовал также статью — настоящий гимн коке, «этому божественному растению, которое насытит голодного, даст силы слабому, заставит забыть о несчастьях неудачника. Ты чувствуешь, что лучше владеешь собой и своим телом, к тебе возвращается любовь к жизни, работоспособность... Длительная интенсивная умственная или мышечная работа выполняется без труда...».

Фрейд ощущал и явный рост сексуальной потенции. Невесте, которая в письме к нему жаловалась на то, что выглядит неважно и страдает отсутствием аппетита, он написал: «Ну держись, моя принцесса! Когда я приеду, я зацелую тебя с головы до ног и буду тебя кормить на убой, раз ты так плохо себя ведешь. Ты увидишь, кто сильнее — маленькая нежная девочка, которая ничего не ест, или здоровый мужик с кокаином в крови. Когда в последний раз у меня испортилось настроение, я снова принял коку, и даже небольшая доза снова вознесла меня до небес».

В статье он писал о «великолепном настроении, о длительной эйфории, ничем не отличающейся от нормальной эйфории здорового человека. Человек, принимающий кокаин, в самом деле совершенно нормален, он не ощущает, что

его хорошее настроение поднялось от приема лекарства. В физическом состоянии не происходит тех изменений, которые бывают при приеме алкоголя, отсутствует и типичное алкогольное похмелье».

Однако экспериментальная база, необходимая для признания факта научно доказанным, была явно недостаточной. У Фрейда, собственно, не было ничего, кроме опытов на самом себе и субъективных ощущений, которые Фрейд самым безответственным образом пытался обобщить, утверждая, что «после первого или повторного приема коки совершенно не возникает тяги к ней — скорее, наоборот, появляется немотивированное нежелание снова прибегать к этому средству».

Может быть, Фрейд действительно не чувствовал тяги к кокаину, но с его другом-морфинистом, которого он пытался вылечить кокаином от пристрастия к морфию, дело обстояло по-другому. Коллега и впрямь оставил морфий, зато требовал все больших доз кокаина, который привел затем к хроническому отравлению и к *delirium tremens*, то есть белой горячке. На глазах Фрейда его коллега-врач попал в полную зависимость от кокаина и в конце концов умер. Только тогда Фрейд опомнился и в письме к невесте предостерег ее от привыкания к кокаину. И тем не менее по-прежнему регулярно посылал ей «чудодейственное средство».

Марте Берне и Фрейду повезло, они не попали в зависимость от этого наркотика, однако все больше людей, которым давали кокаин, разрекламированный в научной статье, становились его рабами. Через два года после того, как Фрейд начал свои опыты с кокаином, его официально обвинили в том, что он вызвал из адской бутылки третьего после алкоголя и морфия «джинна».

В этом, конечно, была некоторая доля преувеличения, однако трудно оспорить тот факт, что Фрейд в погоне за быстрым обогащением слишком поспешно опубликовал свои совершенно недостаточно проверенные наблюдения, которые оказались на поверку ложными. Сам Фрейд никогда не простил себе того, что вызвал у своего коллеги кокаиновую зависимость и тем ускорил его смерть.

Как и прочие люди, Зигмунд Фрейд страдал (о чем свидетельствуют и его опыты с кокаином) разными страхами и комплексами. Именно поэтому он так ухватился за кокаин, который на какое-то время снимает депрессию и возвращает человеку веру в себя. В частности, Фрейд всю жизнь страшно не любил путешествовать по железной дороге, хотя он сам истинной фобией это не считал. Перед каждой поездкой (а ездил Фрейд много и часто) его трясло как в лихорадке, к тому же он ужасно боялся опоздать. Этот страх был так велик, что он являлся на перрон за целый час до отправления поезда.

Еще больше страдал от всевозможных страхов Пабло Пикассо, хотя мать его всегда была уверена, что сына ждет блестящее будущее. «Если ты будешь солдатом, — говорила она малышу, — то непременно дослужишься до генерала, а если монахом — то станешь Папой». Но Пикассо был слишком труслив, чтобы сделаться солдатом. Долгое время он, например, смертельно боялся стричься, причем не в юном возрасте, а будучи уже взрослым человеком. «Месяцами он носил слишком длинные волосы и не решался пойти к парикмахеру. Стоило кому-то заговорить об этом, как он впадал в настоящую панику. Чем длиннее отрастали волосы, тем больше страшила его необходимость стричься. Как правило, дело заканчивалось тем, что он просил близких укоротить ему волосы, а то запирался в маленькую комнату и тщетно пытался отрезать волосы сам».

Страх Пикассо прошел только после того, как он познакомился с одним парикмахером, который был ему очень симпатичен. Его он и стал приглашать на дом, когда зарастал уже до полного неприличия.

Из-за трусости Пикассо был необыкновенно суеверен. Франсуаза Жило была просто потрясена, увидев, насколько суеверен Пикассо: «Когда я бросала его шляпу на кровать, а я частенько кидала ее, это вовсе не воспринималось как обычная небрежность — нет, это была верная примета, что до конца года в доме кто-то умрет. Однажды мы разыгрывали между собой маленькую сценку — мы любили шутки такого рода, и я раскрыла в комнате зонт. Боже, что

тут началось! Все присутствовавшие должны были ходить по комнате, скрестив средний и указательный пальцы, махать руками и выкрикивать «Лагарто! Лагарто!», чтобы прогнать беду прежде, чем она одолеет нас. Хлеб можно было класть на стол только нижней стороной, иначе тоже было не миновать беды».

Пикассо до мельчайших подробностей знал, как отвести возможную напасть. При этом он пользовался не только испанскими ритуалами, хотя испанцы — доки по части суеверий и способов борьбы с грозящими опасностями. Пикассо научился бороться с дурными предзнаменованиями и у своей первой жены Ольги, которая, как известно, была родом из России. «Когда мы отправлялись в дорогу, даже очень ненадолго, вся семья должна были присесть и минуту помолчать. После этого можно было уже отправляться в путь в полной уверенности, что ничего дурного не случится». Поскольку это правило касалось и детей, выдержать целую минуту без единого слова было не так-то просто. «Все сидели с самым серьезным выражением на лице. Если кто-нибудь из детей начинал смеяться или говорить до того, как завершилась минута молчания, все приходилось начинать заново. В противном случае Пикассо ни за что не тронулся бы из дома».

Правда, Пикассо делал вид, что на самом деле он не верит в действенность всяких ритуалов и заклинаний, и говорил: «О, я делаю это только ради забавы. Я знаю, что все это ерунда». Но тут же добавлял: «Впрочем, кто знает...», что должно было означать: береженого Бог бережет.

Поэтому его огорчало, что родственники Франсуазы за нее молились, а за него — нет. Он восклицал: «Они должны помолиться и за меня. Это дурно — не упоминать меня ни единым словом».

Когда ему говорили, что он ведь неверующий, он отвечал: «Нет, мне не все равно. Я хотел бы, чтобы за меня молились. Ведь кто молится, тот верит, и, значит, их молитвы что-то творят. Я тоже хотел бы извлечь пользу из их молитв».

Пикассо никогда не выбрасывал старые свитеры и брюки: а вдруг еще понадобятся! Старые вещи он боялся

выбрасывать или кому-то отдавать, скажем, садовнику, и по другой причине. В душе Пикассо боялся превратиться в того, кому он отдаст свою одежду, кто будет носить его старый костюм, боялся каким-то образом стать похожим на него — старого, кривого и горбатого (хотя садовник был лет на двадцать его моложе).

Поэтому Пикассо никогда не дарил кому-либо свои вещи и носил их до дыр. Купить новый костюм для него была такая же трагедия, как и необходимость время от времени стричься. Он боялся примерок в магазинах, потому что понимал, что готовые костюмы ему не годятся: при маленьком росте у него были мощная грудь и плечи. Не любил он и примерки у портного. «Я совершенно теряюсь от всего этого», — объяснял он Франсуазе, которая пыталась убедить его купить себе наконец новый костюм, когда тот навестил ее в родильном доме после рождения их первого ребенка в брюках, насквозь просвечивающихся от многочисленных дыр. В конце концов ей удалось отправить его к портному. После мучительных примерок Пикассо заказал себе сразу три костюма, чтобы на какое-то время избавиться от пытки. Но когда костюмы принесли, он не стал их носить, а запер в шкафу, где они и сделались добычей моли.

Альберт Эйнштейн также недолюбливал новые вещи — он вообще подозрительно относился к моде. Но за этим крылись не страхи или предрассудки, а всего лишь любовь к удобству, врожденная склонность к независимости и простоте. Эйнштейн, создатель теории относительности, которую дано понять лишь немногим, в частной жизни избегал всяких сложностей и стремился к максимально простому образу жизни. И вполне преуспел в этом своем стремлении.

«Истинная ценность человека определяется в первую очередь тем, в какой степени и в чем он может освободиться от своего собственного «я», — говорил Эйнштейн. Свобода от собственного «я» означала для великого физика свободу от эгоистических побуждений. Он считал, что надо быть свободным от любых форм собственности. Если Пикассо был очень жаден и ни с чем не желал расставаться, то

Эйнштейн большую часть своих доходов раздавал друзьям, знакомым, а иногда и совсем незнакомым людям, которые по разным причинам нуждались в деньгах или уверяли, что нуждаются. Когда жена порой выговаривала Эйнштейну: «Ты снова дал деньги этому мошеннику, и он снова провел тебя», тот возражал: «Да, я знаю, но вдруг ему действительно нужны деньги. Ведь просить денег никому удовольствия не доставляет».

Лично для себя Эйнштейну деньги почти не требовались. Он сознательно ограничивал свои потребности. Свободу он понимал прежде всего как освобождение от всяческой собственности и имущества. Только свободный и независимый человек может противостоять хаосу, угрожающему цивилизации, утверждал Эйнштейн и даже в манере одеваться выражал свою любовь к независимости и нежелание следовать моде. Большую часть вещей, которыми люди пользуются в повседневной жизни, физик считал лишними и ненужными. Когда жена как-то заметила, что пора купить фрак, Эйнштейн изумился: «Фрак? Да зачем он мне? Я никогда не носил фрака и превосходно себя чувствую без него».

Однажды жена уговорила-таки Эйнштейна сшить смокинг, но физик его ни разу не надел, хотя охотно всем рассказывал, что в гардеробе у него висит смокинг и что он готов показать его каждому, кто пожелает.

Эйнштейн лишь тогда чувствовал себя вполне комфортно, когда ему было удобно, а удобно ему было в старых, привычных вещах, особенно в свитерах и рубашках с открытым воротом. Когда он начал работать в Берлине в Прусской Академии Наук, он писал домой: «Вопреки ожиданиям я быстро привык к местной жизни. Душевное равновесие нарушает только муштра в отношении одежды и прочих подобных вещей, которой подвергает меня дядя, утверждая, что это необходимо, чтобы меня не причислили к отбросам общества».

Некоторое время спустя он пишет: «Я сделал прелюбопытное открытие: в обуви можно ходить без носков. Это замечательно! Ведь носки рвутся так быстро, что жена штопает

их без передышки. Я теперь никогда не буду надевать носки, можно прекрасно обходиться без них!»

Эйнштейну казалось, что такие вещи, как носки, галстуки, шляпы, придуманы только для того, чтобы усложнять жизнь. Так он относился ко всему, и, если кто-либо удивлялся, что для бритья он употребляет то же мыло, что и для умывания, Эйнштейн отвечал: «Два куска мыла — для меня слишком сложно». Столь же лишним представлялось ему посещение парикмахера, и волосы у физика всегда были длинные и непричесанные.

Как уже говорилось, причуды Эйнштейна не были связаны с какими-либо суевериями и страхами. Эйнштейн был человеком не робкого десятка. Он не испытывал страха, когда не смог вернуться с женой после заграничной поездки на родину, в которой захватили власть нацисты. Нацистское правительство назначило за голову Эйнштейна премию, а его дом, состояние и все, что он оставил в Германии, конфисковало. В первые годы жизни в эмиграции жена безумно боялась преследований нацистов: «Я не могла спокойно лечь в постель, спала, не раздеваясь, и при каждом шорохе вскакивала: вот, пришли за нами. Ведь за его голову, по слухам, назначили награду в двадцать тысяч марок. Не знаю, насколько это было верно, но предполагаю, что нашлось бы немало оголтелых молодых людей, которые попытались бы получить обещанную премию».

На самом деле за поимку Эйнштейна нацистский режим готов был заплатить пятьдесят тысяч марок, так что страхи жены были вполне обоснованны. Она умоляла Альберта не показываться на людях, но он об этом и слышать не хотел. «Дело доходило до скандалов, — вспоминала она впоследствии, — он обзывал меня трусихой, тряпкой, упрекал в малодушии».

Поведение немцев (Эйнштейн был лишен звания почетного гражданина Германии) и Прусской Академии Наук, которая вела себя трусливо и недостойно, очень огорчало Эйнштейна. 30 мая 1933 года он пишет своему другу Макс Борну: «Ты ведь знаешь, что я никогда не был особенно высокого мнения о немцах (как об их морали, так и в

политическом смысле), однако надо признаться, что они все-таки поразили меня степенью своей жестокости и трусости».

Много лет спустя, в апреле 1949 года он отвечает Максу Борну и его жене: «Вы спрашиваете меня, что я думаю об обычной жизни. Мне гораздо больше удовольствия доставляет давать, чем брать. Я никогда не считал себя важной персоной, я не любил бывать в компаниях, я не стыжусь своих слабостей и пороков и по природе своей воспринимаю все события с юмором и достаточной долей равнодушия. Я знаю много таких же людей и никак не возьму в толк, почему именно из меня делают какого-то идола».

В Эйнштейне начисто отсутствовало тщеславие. Он никогда не стремился к славе, всегда оставаясь свободным, независимым и самостоятельным человеком, каким был со школьной скамьи.

Это особенно бросается в глаза, когда сравниваешь его с другим великим теоретиком и предшественником Эйнштейна — Исааком Ньютоном, который, основываясь на открытом им Законе всемирного тяготения, рассчитал движение планет и изобрел независимо от Лейбница дифференциальное и интегральное исчисление. Детские и юношеские годы Ньютона исполнены всевозможных страхов и комплексов.

Отец будущего великого физика умер рано, мать снова вышла замуж, а мальчика отдала бабушке, у которой он чувствовал себя заброшенным, преданным, одиноким. Он мечтал о том, чтобы дом, в котором жили мать и отчим, сгорел дотла. Подобная запись есть в его дневнике. Там же мы находим и мысли о самоубийстве, свидетельствующие о полной незащитности подростка.

В противовес отчиму, к которому Исаак испытывал ненависть, отца, которого он никогда в жизни не видел, он представлял как некую мифическую фигуру, напоминающую рыцаря Круглого стола, хотя тот был на самом деле мелким землевладельцем. Впрочем, Исаак Ньютон любил наделять своих предков разными дворянскими титулами, причем занимался он этим и мальчишкой, и уже в зрелом возрасте.



Не только простое происхождение тяготило Ньютона, его не устраивал даже день свадьбы родителей: ведь она состоялась слишком поздно, если учесть время его рождения. Чтобы восстановить гармонию, которая была столь важна для Ньютона, он соответствующим образом изменил хронологию событий.

Ньютон хотел быть свободным и независимым, хотя мало кто из людей его ранга так часто подвергался нападениям и преследованиям. Уже в школьные годы, участвуя в мальчишеских потасовках, он понял, что, лишь мобилизовав все свои силы, можно одолеть противника и победить.

Постоянное следование этой раз и навсегда усвоенной истине привело к тому, что неуверенность Ньютона обернулась эгоцентричным высокомерием, а страх по-прежнему оставался непреодоленным. Более того, с годами он только увеличивался. С сорока пяти лет Ньютон страдал психозами, манией преследования и никаких серьезных открытий больше не сделал.

Знал детские страхи универсальный гений Возрождения и один из самых крупных гениев всех эпох Леонардо да Винчи. Он был и художником, и скульптором, и архитектором, и инженером, и естествоиспытателем, и футурологом. Многие его идеи намного опережали время, в которое он жил. Они были слишком идеалистическими, слишком романтическими, чтобы их можно было реализовать в эпоху Возрождения. Достаточно вспомнить его идею кардинальной очистки и санации Милана. Этот план да Винчи разработал после страшной эпидемии чумы 1484—1485 гг., когда вымерла почти треть населения большого города. Леонардо предложил отцам города полностью снести старый, тесный город и построить по его периметру десять городов-спутников. «Наделите меня полномочиями, — писал он грансиньору, — и вечная слава станет вашим уделом. Вы построите в десяти городах по пять тысяч домов на тридцать тысяч жителей. Люди, привыкшие жить скученно и тесно, как мухи, заполняя все улицы зловонием и смрадом и являя легкую добычу для чумы и смерти, будут жить свободно и просторно. В дома городов-спутников поступит

проточная вода, их можно будет отапливать по-новому. Всю территорию пересечет широкий канал, который принесет свежесть и чистоту».

Леонардо всегда был полон идей. Он делал схемы и чертежи оружия и оборонных механизмов, машин, самолетов, домов из готовых блоков, церквей. Он записывал все, что приходило ему в голову и над чем он систематически работал. В частности, он изучал функции отдельных органов человеческого тела, для чего анатомировал тридцать трупов, что по тем временам было немислимым делом. До последнего дня жизни Леонардо вел дневники, в которые заносил все заслуживающее внимания. Это шесть тысяч густо исписанных и испещренных рисунками листов, расшифровать которые весьма непросто. Во-первых, Леонардо писал в зеркальном отражении справа налево, во-вторых, он часто пользовался диалектными выражениями, сокращениями и словосочетаниями, сильно отличавшимися от общепринятых.

Зеркальное письмо, которым пользовался Леонардо, в какой-то мере объясняется тем, что он был от рождения левшой, но в это объяснение никак не укладываются всевозможные сокращения, загадочные словосочетания и многостраничные записи, напоминающие шифровки, многие из которых остаются загадкой и по сей день. Есть только одно объяснение: будучи очень подозрительным человеком, Леонардо всегда опасался, что его идеи украдут, используют и тем самым отнимут у него славу и материальный успех. Только так можно понять пометки, мелькающие в его блокнотах: «Это — никому не показывать! Только тогда вся слава достанется тебе!»

Впрочем, Леонардо бредил не столько о славе, сколько о богатстве. Он, например, придумал план, как потопить вражеский флот, но, прежде чем перейти к разработке деталей, прикинул, как получить долю добычи. И тут же придумал выход — не топить флот, а выдвинуть ультиматум: «Если вы не капитулируете в течение четырех часов, мы уничтожим всю вашу флотилию». И тут же следует запись о материальном участии ученого в победе. «Сначала, — на-

ставляет он сам себя, — ты должен подписать договор, что тебе будет принадлежать половина всей полученной суммы, причем без всяких вычетов».

Психологи и психиатры утверждают, что Леонардо был гомосексуалистом. В качестве доказательства приводится тот факт, что среди его сотрудников, помощников и учеников не было ни одного талантливого человека: дескать, он подбирал их больше по внешности, нежели по способностям. Думается, что тому можно найти гораздо более убедительную мотивировку: подозрительный Леонардо боялся, что талантливый сотрудник украдет его идеи, поэтому старался избегать способных помощников. В такое толкование вполне укладывается один из призывов великого ученого, обращенный к себе: «Выбирай только самых недалеких помощников!»

Леонардо да Винчи был невысокого мнения о людях. «Их злоба безгранична, — писал он, — в дикости своей они готовы повергнуть наземь все столпы цивилизации. Когда они утолят свой голод, они все равно будут сеять смерть, страдания, войны и ярость, направленные на всех подряд. Ничто на земле, под водой и в воздухе не уцелеет, все будет искалечено, поругано, уничтожено, перемещено из одной страны в другую».

Леонардо проклинал войны и кровопролитие, не ел мяса, покупал пойманных птиц и выпускал их на волю. И в то же время придумывал для Цезаря Борджиа, при дворе которого служил военным инженером, страшные орудия уничтожения.

Артур Шопенгауэр также боялся, что его обокрадут, но не плагиаторы, а обычные воры и домушники. Чтобы защитить имущество, он прятал ценные вещи в собственной квартире, да так искусно, что их с трудом удалось найти после смерти Шопенгауэра по оставленному им описанию (на всякий случай он составил его по-латыни). Ценные бумаги он хранил в папке, на которой для отвода глаз было написано «Arsana medica», векселя прятал в старых письмах и тетрадях, расходную книгу вел на английском языке, а особенно важные записи делал по-латыни или по-гречески. Ложась в постель, клал под подушку шпагу и заряженный пистолет.

В обычной жизни Шопенгауэр, который так уничижительно отзывался о человечестве и мире и всячески демонстрировал свое презрение к жизни и смерти, был не таким уж храбрцом. Он всегда опасался, что с ним может произойти что-то плохое; например, чтобы не подхватить какой-нибудь заразы в кафе, носил с собой свой бокал. Страх мешал ему делать то, что, по собственному мнению Шопенгауэра, ему следовало бы сделать. Незадолго до смерти он рассказывал приятелю, что видел, как один человек переходил рельсы в неполюженном месте. Ему тоже было бы удобнее пересечь железную дорогу в этом месте, но там стоял запретный знак и он не решался его нарушить. Когда же он спросил незнакомца, как тот не побоялся перейти через пути, тот ответил: «Если бы я был таким пугливым, как вы, я давно оказался бы в пасти дьявола».

Каким бы великим не был гений, мы обнаруживаем у него черты, свойственные обычному человеку. Джордж Бернанд Шоу, например, долгое время страдал «унизительной» застенчивостью, как, впрочем, и Фридрих Ницше, Франц Шуберт, а в студенческие годы и Махатма Ганди. Чарльз Дарвин, совершив свое знаменитое кругосветное путешествие, больше вообще никуда не ездил. Его выводили из душевного равновесия не только поездки, но даже званые вечера, на которые собирались «сливки» общества. Супруге это открылось вскоре после свадьбы, когда она давала ужин — не роскошный банкет с большим количеством гостей, а самый обыкновенный. Число гостей не превышало семи человек, но этот ужин так утомил Дарвина, что на следующий день он не мог работать. И так повелось и впредь: если у него были гости или он принимал участие в конференциях, Дарвин на несколько дней совершенно выбивался из колеи.

И жена согласилась с ученым, что им следует отказаться от какого-либо общения. И от путешествий тоже. Чтобы никто не мешал, они оставили городскую квартиру и купили в небольшой деревушке дом с садом. Дарвин прожил в нем сорок лет и никогда его не покидал. Жена родила ему десятерых детей, и вся семья должна была подчиняться

строгому распорядку, заведенному Дарвиным. Ведь даже в этой тиши, вдали от суеты большого мира, малейшее нарушение привычного распорядка дня, в который входили и двукратные прогулки по специально проложенной дорожке, лишало гениального ученого душевного равновесия. Стоило ему немного поволноваться, как тут же появлялись симптомы болезней, которые преследовали его всю жизнь: головные боли, приступы слабости, боли в желудке, рвота.

Дарвин положил себе правилом работать каждый день не меньше четырех часов, на большее его просто не хватало, да и это удавалось лишь с помощью жены, которая защищала его от всех напастей и неурядиц. Когда умер отец Дарвина (ученому тогда было 39 лет), он не поехал на похороны, потому что «неважно себя чувствовал».

Конечно же и среди гениев попадаются крепкие натуры, которым все нипочем. Таким человеком был, например, гениальный изобретатель Томас Алва Эдисон. В восьмилетнем возрасте он сбежал из школы, потому что учитель обозвал его тупицей. С тех пор Эдисон никогда не переступал школьного порога, что не помешало ему стать одним из самых выдающихся изобретателей. На имя Эдисона зарегистрировано более двух с половиной тысяч патентов, в том числе микрофон с угольным порошком, фонограф, лампочка с угольной нитью накаливания, генератор тока и первый аппарат для киносъемок. Эдисона часто спрашивали, чему он обязан своими успехами и что такое гений, на что тот ответил своей замечательной фразой: «Гениальность — это на девяносто девять процентов пот и только на один процент вдохновение».

Его лозунгом было: «Работать — отобрать у природы ее тайны и обратить их на службу человеку». Для Эдисона, как и для его друга Генри Форда, работа была настоящим Евангелием. Форд написал однажды: «Работа — вот освобождение человечества. Рабочий человек — создатель всего, он освободит Землю от тех, кто не стремится к прогрессу!» Так же думал и Эдисон, который даже в возрасте семидесяти пяти лет работал по шестнадцать часов в сутки. Когда он был помоложе, он работал еще больше, довольствуясь неве-

роятно коротким сном. Четырех-пяти часов ему вполне хватало. Беда изобретателя заключалась в том, что он считал свой необыкновенный организм нормой и судил всех по своим меркам, упрекая близких, что они тратят на сон слишком много драгоценного времени. Эдисон к тому же ел мало и требовал от близких тоже сократить свои потребности в еде. Неудивительно, что он постоянно враждовал с собственными сыновьями, и из них ничего путного не получилось (во всяком случае, с детьми от первого брака).

С возрастом Эдисон все больше превращался в настоящего тирана, хотя сам уже не придерживался тех принципов, соблюдения которых требовал от других. Один из его друзей Джон Барроу писал: «О постоянство! Воистину Эдисон — не твой синоним. Десять часов утра, Эдисон еще не проснулся. И это тот человек, который утверждает, что на сон ему достаточно всего пары часов! Он ругается, что к столу подали тростниковый сахар, а потом насыпает в чашку две ложки с верхом, причем выпивает в день чашки по четыре. Он ест больше меня, но обжорой зовет меня. Он поглощает пирожные тоннами и заедает их мороженым».

Эдисону случалось и ошибаться, и делать ложные выводы. Он, в частности, не допускал, что у радио (которое изобрел не он) есть будущее. Свой фонограф он ставил выше и «увлечению радио» предрекал скорый конец. «Радио — это чистое недоразумение, — провозгласил он еще в 1925 году в письме, адресованном своим сотрудникам, — у торговцев вскоре пройдет охота торговать радиоприемниками». Эдисон полагал, что люди предпочтут слушать с помощью фонографа музыку, которую они сами выбирают, а не ту, которую навязывают им радиостанции.

Но Эдисон ошибался. Созданная им дилерская сеть по продаже фонографов в сороковые годы распалась. Напрасно сыновья Чарльз и Теодор умоляли отца включить в ассортимент радиоприемники или даже начать их изготовление. Эдисон держался своего мнения, а потом было уже поздно.

Гением трудоспособности и организации труда был наш современник профессор Ульяновского университета Александр Александрович Любищев, о котором рассказал Дани-

ил Гранин в своей книге «Эта странная жизнь». Еще со студенческой скамьи Любищев поставил перед собой задачу найти резервы времени, которые позволили бы ему осуществить намеченные задачи. Поскольку «раздвинуть» сутки и сделать из двадцати четырех часов тридцать невозможно, он решил уплотнить время за счет специальной Системы, введя очень строгий учет времени, затраченного на любые дела.

Вот страничка из дневника Любищева, в котором он ежедневно фиксировал свои занятия и время, ушедшее на них:

«Ульяновск. 7.4.1964

Систем. энтомология (два рисунка неизвестных видов Псиллиолес) — 3 ч. 15 м. Определение Псиллиолес — 20 м.

Дополнительные работы: письмо Славе — 2 ч. 45 м.

Общественные работы: заседание группы защиты растений — 2 ч. 25 м.

Отдых: письмо Игорю — 10 м.; «Ульяновская правда» — 10 м. Лев Толстой «Севастопольские рассказы» — 1 ч. 25 м.

---

Всего основной работы — 6 ч. 20 м.».

Или следующий день:

«Ульяновск 8.4.1964

Систематическая энтомология: определение Псиллиолес, конец — 2 ч. 20 м. Начало сводки о Псиллиолес — 1 ч. 05 м.

Дополнительные работы: письмо Давыдовой и Бляхему, шесть стр. — 3 ч. 20 м.

Передвижение — 0,5

Отдых: брился. «Ульяновская правда» — 15 м. «Известия» — 10 м. «Литгазета» — 20 м. А. Толстой «Упырь» — 65 стр. — 1 ч. 30 м. Слушал «Царскую невесту» Римского-Корсакова

---

Всего основной работы 6 ч. 45 м.».

Любищев не только подводил итоги проделанной работы, он и планировал ее на годы, на пятилетку вперед.

Личная жизнь с ее переживаниями не должна была мешать работе — переживаниям и прочим волнениям и горестям отводился свой час под рубрикой «домашние дела».

С 1916 года по 1972-й, по день смерти, пятьдесят шесть лет подряд, Александр Александрович Любищев аккуратно записывал расход времени. Он не прервал своей летописи ни разу, даже смерть сына не помешала ему сделать отметку в этом привычном отчете.

Любищев стремился использовать каждую минуту, любые так называемые «отбросы времени»: поездки в трамваях, в поездах, заседания, очереди. «Утилизация «отбросов времени», — пишет Д. Гранин, — у него продумана до мелочей. При поездках — чтение малоформатных книг и изучение языков. Английский язык он, например, усвоил главным образом в «отбросах времени».

«Когда я работал в институте растениеводства, — рассказывает Любищев, — мне приходилось часто бывать в командировках. Обычно в поезд я забирал определенное количество книг, если командировка предполагалась быть длительной, то я посылал в определенные пункты посылку с книгами.

Как распределялось чтение книг в течение дня? С утра, когда голова свежая, я беру серьезную литературу (по философии, по математике). Когда я поработаю полтора-два часа, я перехожу к более легкому чтению — историческому или биологическому тексту. Когда голова уставала, то берешь беллетристику.

Какие преимущества дает чтение в дороге? Во-первых, не чувствуешь неудобств в дороге, легко с ними миришься; во-вторых, нервная система находится в лучшем состоянии, чем в других условиях.

Для трамваев у меня тоже не одна книжка, а две или три. Если едешь с какого-либо конечного пункта (напр., в Ленинграде), то можно сидеть, следовательно, можно не только читать, но и писать. Когда же едешь в переполненном трамвае, то тут нужна небольшая книжечка и более легкая для чтения...



Всякие перерывы в работе я выключаю, я подсчитываю время нетто. Время нетто получается гораздо меньше количества времени, которое получается из расчета времени брутто, то есть того времени, которое вы провели за данной работой.

Часто люди говорят, что они работают по 14—15 часов. Может быть, такие люди существуют, но мне не удавалось столько проработать с учетом времени нетто. Рекорд продолжительности моей научной работы 11 часов 30 мин. Обычно я бываю доволен, когда проработаю нетто 7—8 часов. Самый рекордный месяц у меня был в июле 1937 года, когда я за один месяц проработал 316 часов, то есть в среднем по 7 часов нетто».

«Любищев — один из тех людей, кто сумел выйти за пределы своих возможностей, — пишет Гранин в своей книге об ученом. — Здоровья не бог весть какого крепкого, он благодаря принятому режиму прожил долгую и в общем-то здоровую жизнь. Он сумел в самых сложных ситуациях оставаться верным своей специальности.

Его наследие огромно. При жизни он опубликовал около семидесяти научных трудов. Среди них — классические по дисперсионному анализу, по таксономии, то есть по теории систематики, по энтомологии.

Всего им написано 12 с половиной тысяч страниц машинописного текста.

Любищев написал работы по систематике земляных блошек, истории науки, сельскому хозяйству, генетике, защите растений, философии, энтомологии, зоологии, теории эволюции.

Как-то один молодой ученый позавидовал работоспособности Любищева, объясняя это его благополучной размеренной жизнью. На что верный своей манере Любищев, отвечая ему, составил таблицу пережитых неприятностей:

*«В возрасте 5 лет упал со столба и сломал руку;  
в возрасте восьми лет отдал плитой ногу;  
в возрасте 14 лет, препарируя насекомых, порезался,  
началось заражение крови;*

- в 20 лет — тяжелый аппендицит;*
- в 1918 году — туберкулез легких;*
- 1920 год — крупозная пневмония;*
- 1922 — сыпняк;*
- 1925 — сильнейшая невралгия;*
- 1930 — чуть не арестован в связи с кондратьевщиной;*
- 1937 — кризис в Ленинграде, ликвидация Института растениеводства;*
- 1939 — после неудачного прыжка в бассейне — мастоидит;*
- 1946 — авиационная катастрофа;*
- 1948 — проработка после сессии ВАСХНИЛа;*
- 1964 — тяжелое падение затылком о лед;*
- 1970 — сломал шейку бедра...»*

«Любищев умел осознать плоть Времени. Он научился обращаться с пульсирующим, ускользящим «теперь». Он не боялся измерять тающий остаток жизни в днях и часах. Осторожно он растягивал Время, сжимал его, стараясь не уронить, не потерять ни крошки. Он обращался с ним почтительно, как с хлебом насущным, ему в голову не могло прийти «убивать время».

Гении — всего лишь люди, люди из плоти и крови, люди, которые ошибаются, боятся, не могут справиться с трудностями повседневной жизни, у них те же муки, горести и радости. И это не только тема настоящей главы, но и всей нашей книги. Два знаменитых социолога Вильгельм Ланге-Айхбаум и Вольфрам Курт написали книгу под названием «Гений, заблуждения и слава», где говорится: «Быть просто человеком — ничуть не меньше, чем быть идиолом. Скорее наоборот».

## ЛЮБИТЕЛИ ПОЕСТЬ

**В** наши дни быть стройным — значит быть здоровым и красивым. Впрочем, так было всегда, однако во все времена было немало людей, которые получали от еды такое удовольствие, что уже не обращали внимания ни на фигуру, ни на здоровье, ни на свой внешний вид.

«Ну и жрет же он!» — писал другу немецкий писатель Жан Поль, автор нашумевшего в свое время романа «Геспер», делаясь своими впечатлениями о визите к Гете в 1796 году. Многие современники этого «живого бога», каким он казался немцам, навещая его в Веймаре, также удивлялись непомерному количеству гусиного жаркого, которое уничтожал его превосходительство, и немалому числу форелей, которые подавались к десятичасовому завтраку. Не приходится удивляться, что Гете, который всегда любил всласть поест и уже в своем раннем произведении «Гет фон Берлихинген» писал: «Когда вы поели и выпили, вы как будто родились вновь. Вы стали смелей, искусней в своем деле...»<sup>1</sup> — вскоре более походил своей статью не на бога, а на борова.

«Походка его медлительна, живот свисает вниз и выступает вперед, как у женщины на сносях, подбородок совсем утонул в шее... Щеки толстые, рот приобрел форму полумесяца, и весь Гете являет собой самодовольное безразличие, — так описывал Гете, которому было тогда пятьдесят с небольшим, Карл фон Штейн, сын Шарлотты, возлюбленной поэта. — Как жаль, а ведь он был красавец».

<sup>1</sup>Перевод Е. Книпович.

Много позже, когда обильные обеды, солидные полдники с прекрасными пирожными прямо от кондитера, плотные ужины с холодными закусками: раками, колбасами, языком, красиво разложенными на блюде, затягивавшиеся за полночь пикники, которые Гете устраивал в своем саду, регулярные возлияния, привели вкупе с преимущественно сидячим образом жизни к разным нарушениям и болезням, Гете вынужден был умерить свой аппетит и снова постройнел. Что же касается Христианы, спутницы его жизни и впоследствии жены, которая также изрядно раздалась, то она так и не смогла исправить свою фигуру.

Геттингенский профессор Георг Кристоф Лихтенберг видел в полноте очевидные признаки телесного и духовного упадка. Сам он безуспешно пытался соблюдать диету и даже написал (1789 год) следующий диалог:

**А.:** Что-то вы потолстели!

**Б.:** Неужели это так заметно?

**А.:** Да вы вдвое толще, чем прежде!

**Б.:** Это деятельность уставшей природы, у которой нет больше сил что-либо производить, кроме жира. Его следовало бы просто отрезать. Жир — это не тело и не дух, это то, что оставляет после себя утомленная природа, вроде травы на кладбище.

Лихтенберг написал это уже тяжело больным человеком, когда пытался найти рецепты оздоровления в книге врача Хуфеланда «Макробиотика, или Искусство продлить жизнь». Хуфеланд большое значение придавал диете, но Лихтенберг никак не мог справиться с собой и вновь и вновь заказывал себе еду, которая была весьма вредной для него. Он записывал в дневнике: «Слава Богу, я поел и чувствую себя так же плохо, как и раньше (то есть, не хуже)». На самом деле, главная проблема Лихтенберга была не в переедании, а в алкоголе.

Знаменитый австрийский поэт эпохи «бидермейер» Адальберт Штифтер уже с юных лет был чрезвычайно привержен обильным застольям, сопровождавшимся изрядной выпивкой. Ему едва минуло тридцать лет, а он уже весил за сто килограммов, и только страх перед болезнями

заставлял Штифтера сдерживаться при виде накрытого стола. Забавно отметить, что героями книг Штифтера были стройные юноши и эфирные девушки. Один юный поэт рассказывает, как пришел к Штифтеру в гости. Он летел к любимому писателю как на крыльях, но на лестнице первого этажа вынужден был умерить свой пыл, потому что весь проход занимала супружеская пара, которая, пыхтя и поминутно останавливаясь, также поднималась вверх. Проскользнуть мимо не представлялось возможным. Лишь когда мужчина забрался наверх и, отдуваясь, обернулся, юный обожатель узнал в толстяке Штифтера. «За исключением тучной фигуры, это был весьма красивый человек с благородными чертами флегматичного полного лица. Однако сознание того, что передо мной Штифтер, создатель бесчисленных образов почти бестелесных персонажей, было настолько обескураживающим, что я потерял дар речи».

Говорят, что Штифтер только на закуску поглощал пяток форелей, перепелов мог съесть и добрую дюжину. А раков — так и три-четыре дюжины. Один гость рассказывал, что Штифтер у него на глазах съел вместе с женой «солидного гуся и солидный кусок ветчины. При этом, — добавляет потрясенный очевидец, — он проглотил все это просто так, а не на пари».

Хотя (а может быть, именно поэтому) Штифтер плотно завтракал и сытно обедал, к вечеру у него снова разыгрывался аппетит. И как писал его биограф, «на стол подавалась большая жаренная с румяной корочкой курица, пузатая бутылка вина и несколько перемен десерта, который завершался королевскими финиками». А если кто-либо удивлялся столь обильному ужину, Штифтер отвечал: «Мне все нипочем. Я могу глотать сапожные гвозди, мой желудок все переварит».

На самом деле излишняя еда нанесла ему непоправимый вред, тем более что он мало двигался. Позднее, когда он получил титул тайного советника, он признавался: «Я сижу за столом, и когда пишу свои произведения, и когда принимаю экзамены, и когда нахожусь в присутствии». Болезнь печени, от которой он умер в шестьдесят два года, Штифтер нажил именно из-за обильной и жирной пищи.

Безудержное чревоугодие при малоподвижном образе жизни привело к опасному увеличению веса и князя Отто фон Бисмарка. К шестидесяти годам он весил двести сорок пять фунтов (около 100 кг). За столом Бисмарк не знал меры и не желал прислушиваться к рекомендациям врачей, которые постоянно твердили об опасности невоздержанности в еде. В 1883 году к нему приехал мюнхенский доктор Эрнст Швенингер, которому он доверял, поскольку тот вылечил его сына Билла. Билл (полное имя Вильгельм) Бисмарк был уже в тридцать лет таким толстым, что родные боялись, что ему придется перемещаться только с помощью кресла на колесиках. Швенингер прописал Биллу диету, которой тот и в самом деле придерживался, так что через год его вес уменьшился на шестьдесят фунтов. И вот князь тоже выразил готовность последовать советам Швенингера. Баронесса Шпитцемберг, которая постоянно бывала в доме Бисмарков, пишет о первоначальном успехе этого начинания:

«Примерно через восемь дней наш титан, послушно выполняя наставления, почувствовал явное улучшение. Он так обрадовался этому, что немедленно выдул четыре литра простокваши и запил их бутылкой коньяка, в результате чего у него начались желудочные колики, сопровождавшиеся вспучиванием живота и рвотой. Бедная семья... Они в конце расстроены, ведь Швенингер сказал, что дело плохо кончится, если постоянно давать желудку такую нагрузку. Воистину печально видеть, как этот великий человек не может совладать с собственными слабостями».

Молодой врач (Швенингеру было тогда всего тридцать лет) все же убедил старика Бисмарка подчиниться медицинским рекомендациям. За год он снизил вес канцлера с двухсот сорока пяти до ста девяноста шести фунтов. Бисмарк снова начал заниматься верховой ездой, чего не делал уже много лет. Но затем он снова стал нарушать диету. За завтраком в поместье Фридрихсру (тут уместно упомянуть, что завтракал Бисмарк в час дня, потому что поздно вставал) на стол подавалось холодное мясо, паштеты, яйца, икра, копченая рыба, и Бисмарк не пропускал ни одного блюда. Все это он запивал минеральной водой, смешанной с коньяком или портвейном.

Баронесса Шпитцемберг добавляет по этому поводу в своем дневнике: «Вот так великие сами накладывают на себя оковы, что не под силу сотворить ни людям, ни судьбе». Возможно, она имела при этом в виду и Фридриха Великого, который также не мог удержаться, когда речь заходила о еде. Фридрих заставлял слуг показывать ему меню на следующий день, чтобы не отдавать на волю случая столь ответственное дело. Своего врача, правда, он уверял: «Вы не представляете, насколько я умерен в еде. Я только пробую от каждого блюда по маленькому кусочку и ем ровно столько, чтобы не потерять силы». Но когда однажды доктора Циммерманна пригласили к королевскому столу, то, что он увидел, потрясло его до глубины души.

Фридриху шел уже семьдесят пятый год. К столу подали сильно наперченный мясной бульон, к которому король добавил столовую ложку толченого муската. После бульона последовал добрый кусок говядины, поджаренный по русскому рецепту в жженке. За русским блюдом подали итальянское: что-то вроде каши из турецкой пшеницы, перемешанной с сыром пармезан, политое чесночным соком и зажаренное в масле до образования плотной корки толщиной в палец. Блюдо подали под соусом из острейших специй. Но это был еще не конец трапезы — пациент взял себе полную тарелку паштета из угря, который был таким горячим и наперченным, как будто его только что сняли с адской сковородки...

Врачи давно уже рекомендовали Фридриху умерить аппетит, ведь он с молодости страдал хроническим гастритом, но это на него не действовало, и уже кронпринцем он был весьма тучен. Сестра Вильгельмина, которая не видела его некоторое время, записывает: «Я с трудом узнала его. Шея стала толстой и короткой, даже лицо изменилось, и он уже не так красив, как раньше».

Но что делать, если Фридрих любил острое. За завтраком он выпивал семь-восемь чашек крепкого кофе, в который добавлял перец и горчицу. Врачи ему были не указ. Когда кто-то из них запретил королю есть его любимый сыр пармезан, он просто вышвырнул врача вон. За не-

сколько дней до смерти в меню Фридриха значилось одиннадцать перемен, в том числе суп, говядина, котлеты, лососина, бычий язык, зеленый горошек, свежая селедка и соленые огурцы. Все это он запивал шампанским.

Обжорство было у Фридриха в крови. Его отец, прусский король Фридрих, тоже ел много и притом быстро, почти не жуя. Правда, его кухня была не такой изысканной, как у сына, обожателя всего французского. Любимым блюдом Фридриха Прусского были бараньи ребра с капустой, но не пренебрегал он и более тонкими яствами, особенно во время инспекционных вояжей, когда расходы несла принимающая сторона. В этих случаях он обнаруживал большое пристрастие к свинине и гусятине во всех видах, а также к трюфелям в масле и устрицам, которых, по слухам, он без труда мог проглотить до восьми дюжин.

В его тучности не в последнюю очередь было повинно пиво («дукштайнер»), которое он пил по вечерам, особенно когда заседала печально знаменитая табачная коллегия.

Фридрих Вильгельм каждый день становился на весы в тщетной надежде, что верховая езда и пот унесли лишние килограммы, и все же к концу жизни он весил двести пятьдесят фунтов. Когда сорокалетнего короля пригласили с сыном в Дрезден к Августу Сильному на карнавал, то во время танца на нем лопнул мундир, и толстяка-коротышку (уже тогда его талия достигала полутора метров, а к концу жизни — целых двух метров) увели из зала, закутав в одеяла, пока не подобрали другую одежду.

Просто помешанным на еде был император Карл V. В пятьдесят с лишним лет он устранился от политики и руководства огромной империей и поселился в поместье Юсте. У Карла была плохая дикция, и он очень страдал от этого, и все же когда в столовую залу вносили блюда, он не пропускал ни одного из них отнюдь не потому, что не мог произнести «не хочу». Подавали супы, жареного барана, зайца на вертеле, лакомых каплунов, и Карл ел все подряд, при этом огромными кусками, запивая все это бутылками вина.

Считают, что Карл унаследовал привычку к обжорству от своего прадеда императора Фридриха III и, в свою очередь,



передал эти гены внуку Дону Карлосу, испанскому инфанту. Что-то сомнительно. Если считать, что ожорство — наследуемый признак, то многие любители вкусно поесть могли бы объявить, что в их жилах течет кровь Карла Великого. Правда, «отец Европы» не был пьяницей (и строго наказывал приверженцев алкоголя), зато поститься было не в его привычках, он даже ввел специальные законы, освобождавшие от обязанности питаться скоромным в дни поста. Даже священникам позволялось купить соответствующую индульгенцию. Карл поглощал еду в невероятном количестве. Придворный биограф Айнхард пишет: «Помимо жаркого, он ел не меньше четырех блюд», а когда врачи советовали ему воздержаться хотя бы от чрезмерного потребления мяса, он впадал в ярость.

Неплохим едоком проявил себя и английский король Генрих VIII.

Он уже с малых лет воздавал должное хорошему столу, но без труда справлялся с большим количеством пищи, потому что много времени тратил на спортивные занятия, много ездил верхом, охотился, участвовал в турнирах, плавал и ходил под парусом. Однако с годами обильная еда сделала свое дело, и Генрих VIII выглядит на своих портретах весьма располневшим. Когда он пришел к власти, он задал такой пир, какого еще не видели в Европе. Гостям предложили сотню различных блюд: паштеты из дичи в виде слонов и кабанов, паштеты из голубей и куропаток в виде лебедей и цесарок. Сласти громоздились, как крепостные стены, а напитки заполняли крепостные рвы вокруг замка. Из шести жен Генрих VIII наибольшее предпочтение отдавал Джоан Сеймур, наверное, потому, что она тоже любила поесть. В архивах сохранились бухгалтерские отчеты о расходах на стол. Из них видно, как много денег тратилось на любимую Генрихом дичь, прежде всего перепелов, которые стоили особенно дорого. Когда Джоан вскоре после родов умерла, Генрих направил Томасу Кромвелю, который был тогда хранителем печати, следующее краткое послание для передачи по дипломатическим каналам в другие страны: «Королева, которая простудилась из-за небрежности своих камеристок и ела намного больше, чем могла переварить, умерла».

Об этом толковал двумя веками раньше (впрочем, и до него проблему обсуждали немало раз) автор «Декамерона» Боккаччо: «Зловредный порок обжорства сводит людей в могилу намного раньше срока, назначенного для них природой. Скольких людей эта пагубная страсть унесла в могилу! Недаром врачи всегда говорили, что еда для человека опаснее, чем меч».

Излишнее потребление еды осуждалось медициной с незапамятных времен, поскольку люди извечно ели слишком много — впрочем, как и в наши дни. Уже египтяне, которые были известными мясоедами, любили ублажать свой желудок. То же самое можно сказать и о древних греках, которых мудрый Сократ тщетно пытался отучить от обжорства.

Сократ вообще был первым, кто две тысячи четыреста лет тому назад уже боролся с «вещизмом» — привычкой делать покупки независимо от необходимости. Сократ первым воскликнул: «Сколько же есть вещей, без которых можно жить!» Сам он жил чрезвычайно скромно, в том числе и во всем, что касалось еды. Его современник Ксенофонт вспоминает, что благодаря здоровому образу жизни Сократ так воспитал свою душу и тело, что мог жить свободно и без лишних забот и не ломать себе голову над тем, где достать деньги на различные приобретения, в которых нет особой нужды. Ел он ровно столько, сколько требовал организм. Любой напиток доставлял ему удовольствие, потому что он пил, чтобы утолить жажду, и только. Если он ходил на званые обеды, то легко уберегался от того, что другим удается с таким трудом, а именно от переедания. Тем, кому это давалось с трудом, он советовал не брать в рот вкусных яств, которые побуждают человека есть и пить, не испытывая голода и жажды. Ведь потребление без нужды — настоящая погибель для желудка, головы и души. Цирцея, шутил Сократ, наверное, превратила людей в свиней, потому что добавляла в напитки и еду разные соблазнительные пряности. А вот мудрый Одиссей, следуя совету Гермеса, всячески остерегался заманчивых яств и не набивал желудок до отказа.

Поведение Сократа, первого известного нам великого философа, на собственном примере учившего нормам здорового образа жизни, внушало уважение и вызывало удивление не только у Ксенофонта. Его образ жизни был абсолютным исключением из правил. Советы Сократа все считали правильными, только им мало кто следовал. Как-то один его друг пожаловался Сократу, что он испытывает отвращение к любой еде, и тот дал ему совет вообще перестать принимать пищу до тех пор, пока не захочется есть, а когда основательно проголодаешься, и аппетит появится к простой и здоровой пище.

В 399 году до н.э. Сократа приговорили к смерти, заставив выпить чашу с цикутой, потому что его независимые и оригинальные суждения шли наперекор воззрениям правителей. Однако и за тысячи лет, прошедших со времени его смерти, призывы Сократа к воздержанию не потеряли актуальности.

Но в историю вошел не только Сократ с его философией умеренности, но и римлянин Луций Лициний Лукулл, который, наоборот, прославился безумной расточительностью и чревоугодием. Лукулл, кстати, был предводителем римского войска в войне с Митридатом, но память о его военных заслугах бледнеет по сравнению со знаменитыми «лукулловыми пирами», которые превратились в крылатое выражение.

Лукулл был предводителем римских когорт на Ближнем Востоке, и вывезенные оттуда богатства позволяли ему не стесняться в средствах. Греческий историк Плутарх сравнивает жизнь Лукулла с древней комедией: «Сперва мы читаем в ней об участии героя в политической деятельности и военной службе; все это сменяется попойками, обедами и даже шумными процессиями, прогулками с факелами и всевозможными шутками. К его шуткам я, по крайней мере, отношу и сделанные им великолепные постройки, устройство портиков и бань, а еще более — его картинные галереи, собрания статуй и любовь его к подобного рода произведениям искусства, которые он собирал с огромными издержками, соря на них колоссальные суммы, приобретенные им во время походов.

Трапезы его отличались не только роскошными пурпурными ложами, кубками, украшенными драгоценными камнями, драматическими и музыкальными представлениями, но, прежде всего, изысканнейшими кушаньями и деликатесами, возбуждавшими зависть толпы».

Плутарх говорит, что Лукулл в любое время дня и ночи готов был принять своих гостей «по-лукулловски». «Однажды Цицерон и Помпей слонялись без дела по рынку и встретили там Лукулла. Цицерон был одним из его ближайших друзей, а к Помпею после двух походов в Азию он относился настороженно, но знакомство они поддерживали. Цицерон поприветствовал Лукулла и спросил, могут ли они зайти к нему. Лукулл ответил, что очень рад будет их видеть и приглашает к себе. «Мы хотим отобедать сегодня по-домашнему», — сказал Цицерон. Лукулл притворился смущенным и просил их отложить визит, но они не позволили ему и даже не пустили сказать чего-либо рабам, чтобы он не приказал приготовить какое-либо лишнее блюдо. Они согласились исполнить лишь его просьбу позволить одному из рабов сказать в их присутствии, что сегодня он обедает в зале Аполлона, — так называлась одна из его великолепных зал. Он незаметно перехитрил их — по видимому, для каждой из столовых назначена была стоимость обеда, особая цифра расхода и отдельная сервировка. Таким образом, когда рабам говорили, где хотел обедать Лукулл, они знали, сколько истратить на обед, в каком порядке подавать кушанья и каких правил держаться во время его. Обед в «зале Аполлона» стоил обыкновенно пятьдесят тысяч денариев. Столько было издержано и в данном случае. Помпей и его товарищ были удивлены столько же роскошью обеда, сколько и быстротой его приготовления».

Не забудем, правда, что Плутарх жил на сто лет позже Лукулла и сам в лукулловых пиршествах участия не принимал, да и присочинить любил. Вообще потомки часто выносят не совсем справедливые суждения о жизни своих предков. Так, во всех исторических повествованиях «Король-Солнце» купается в роскоши и является чревоугодником. На самом деле это преувеличение. Людовик всего

лишь любил плотно поесть. К королевскому ужину подавали четыре различных супа, фазана, куропатку, салат, мелко порезанную и политую чесноком баранину, два ломтя ветчины, выпечку, десерт и фрукты. Обед короля состоял из трех блюд с десертом и бутылкой вина. Людовик требовал, чтобы на столе всегда были овощи, фрукты, пряности. На завтрак ему достаточно было куска белого хлеба, который он запивал вином с водой; чай, кофе, шоколад он не употреблял. И он никогда ничего не ел на ходу. Так что относить Людовика к обжорам неправильно, он, кстати, и не был толстым и до конца своей жизни скакал верхом и ездил на охоту.

Настоящим обжорой можно считать «короля музыки» Георга Генделя. «Музыкант способен съесть хоть сотню каплунов» — так отозвался современник Генделя поэт Паоло Ролли на известную всем страсть музыканта. В 1754 году в одной из английских газет была опубликована карикатура: Гендель восседает на винной бочке, вместо носа у него свиной пяточок, вокруг него окорока, блюда с устрицами и каплунами, бутылки с ликерами. Подпись — «Очаровательный толстяк».

Обжорство Генделя было настолько известным, что этот факт не обошел вниманием ни один из его биографов. В вышедшей вскоре после смерти композитора (1759) книге, объясняя низменную страсть великого человека, биограф пишет: «Работа требовала постоянного возмещения уходящей в музыку энергии материальным подкреплением».

Что и говорить, в таком объяснении нуждалось немало великих людей. Например, Гюстав Флобер, автор «Мадам Бовари», в молодости считался писанным красавцем, но вскоре от красоты его осталось одно воспоминание, потому что он очень много ел и мало двигался. Ел он с такой жадностью, что друзья всегда выбирали в ресторанах укромные уголки или занимали отдельные кабинеты, чтобы посторонние не стали свидетелями безмерного обжорства «знатока женской души». Приступая к еде, Флобер снимал пиджак, отстегивал воротничок и манжеты, более того — даже ботинки мешали ему поглощать пищу, и он стаскивал и их.

Еще один известный едок — композитор Макс Регер. Как Флобер и Гендель, он постоянно работал, не давая себе ни малейшего отдыха, так что еда была для него единственным отвлечением от непрерывных трудов. Жена, видя, что Регер устал, отправляла его обедать в соседний ресторан, где Регер проглатывал штук тридцать, а то и тридцать пять сарделек. Плотный обед занимал несколько часов, и Регер едва поспевал домой к ужину, которому также отдавал должное.

Композитор хвастался своим «железным здоровьем» и считал, что ни еда, ни обильные возлияния ему не страшны. Чтобы избавиться от алкогольной зависимости, Регер к концу жизни заменил вино лимонадом, но и его выпивал по несколько литров. Умер композитор всего сорока трех лет от роду, один, ночью, в лейпцигской гостинице, за правкой корректуры своего 138-го опуса через несколько часов после того, как плотно поужинал и выпил с друзьями в ресторане.

В наши дни кухня становится все более изысканной, но принято, отдавая должное кулинарному искусству, не забывать о последствиях неумеренного аппетита: об излишнем весе, о болезнях, о смерти. Часто думал о смерти и Сальвадор Дали, хотя бы потому, что окна его дома в Порт-Льигат выходили на кладбище. Однако Дали и здесь был сверхоригинальным, и его рассуждения могут стать утешением для любителей вкусной еды и хорошего вина. В написанной в 1930 году книге «Моя страсть» Дали пишет: «Если я скажу, что постоянно думаю о смерти, этого будет, пожалуй, недостаточно. Я ношу в себе сказочную объемность смерти. Особенно когда вижу еду. Не проходит обеда, при котором я со всей очевидностью и неизбежностью не представил бы себе реальность смерти с ее несомненной легитимностью. Когда мне в нос ударяет запах жаренных на гриле сардин, я поворачиваюсь лицом к кладбищу, и моя гастрономическая струна начинает звенеть от осознания смерти. Когда я пережевываю ароматнейшие кусочки мяса, я говорю себе: «Я не мертв. Я живу. Я живу!», и слюна обильно сдабривает лакомое блюдо...»

# ВЕЧНАЯ НЕХВАТКА ДЕНЕГ

**В** наши дни все дорожает, и жить на то, что имеешь, труднее, чем прежде. С другой стороны, надо признать, что умение жить по средствам не столько экономическая категория, сколько черта характера. Во все времена существовали люди, которым денег не хватало только потому, что они жили не по средствам.

Классическим примером тому является Карл Маркс — великой теоретик, автор «Капитала», человек, всю жизнь положивший на изучение основных законов экономики, впрочем, без малейшего успеха для собственных предприятий. Уже во время учебы в Берлине он бездумно расходовал свои деньги (точнее, деньги отца). Отец очень любил Карла, хорошо понимал характер сына и все же жаловался в письме: «Ты ведешь себя так, как будто мы черпаем деньги из золотой жилы. Мой дорогой сынок вопреки всем договоренностям, вопреки здравому смыслу ухитряется потратить за год семьсот талеров, в то время как самые богатые студенты обходятся пятьюстами. Как же так получается? Я согласен, мой сын — не мот и не гуляка. Видимо, дело в том, что человеку, который два раза в месяц делает экономические открытия, не до мелочей».

Расходы молодого Маркса действительно были изрядными. Например, в 1836 году оклад советника Берлинского магистрата составлял восемьсот талеров. Студент Фердинанд Фрейлихрат (он тоже учился в Берлине и был на восемь лет старше Маркса) пишет: «На сто восемьдесят —

двести талеров в год в Берлине можно жить припеваючи», а между тем молодой Маркс тратит семьсот, и ему не хватает!

Правда, проблема денег и впрямь мало волновала юного мыслителя. Отец пишет сыну, что просит сообщать ему о всех деталях учебы, но считает, что тот мудро поступает, «замалчивая одну весьма существенную проблему. Я имею в виду презренный металл, значение которого для отца семейства ты, похоже, недооцениваешь. Я, пожалуй, тоже виноват в этом и упрекаю себя, что слишком отпустил вожжи. Ты учишься на юридическом факультете всего четвертый месяц и уже потратил двести талеров. Столько мне не заработать за всю зиму...»

Маркс никогда не умел сводить концы с концами. Несмотря на всевозможные субсидии, вначале от отца, потом от матери (которую он совершенно несправедливо называл жадной) и затем, наконец, от друга Фридриха Энгельса, несмотря на несколько полученных наследств, Карл Маркс всю жизнь боролся с материальной нуждой.

Иногда ему действительно приходилось нелегко. В 1849 году его выслали из Пруссии, и он переехал в Англию. Прокормить семью из шести человек (жена, трое детей, прислуга) он был не в состоянии. Случалось, что Маркс неделями не покидал квартиры, потому что одежда была заложена. Но состоятельный Энгельс всегда бросал ему спасательный круг. Начиная с 1869 года, т. е. после смерти своего отца, он выплачивает Марксу ежегодную ренту в семь тысяч марок. Но в принципе это ничего не изменило, потому что автор «Капитала» не умел обращаться с деньгами.

Энгельс все чаще вынужден увеличивать ежегодную ренту, но это ничего не меняет. Как только у Маркса оказывается на руках значительная сумма (один раз жена получила в наследство пять тысяч марок, другой раз — три тысячи от богатого дядюшки, еще через несколько лет сам Маркс получил наследство в тридцать тысяч марок), он тут же поднимает планку своего жизненного уровня. Стоило жене получить наследство, как Маркс переехал из квартиры



в дом, а через некоторое время признает: «Я нахожусь в более отчаянном положении, чем пять лет назад, причем кризис этот — постоянный, и я не знаю, как из него выбраться».

Печальный опыт не помешал Марксу, как только он получил новое наследство, немедленно вселиться в еще больший дом, только на отделку которого было потрачено пятьсот фунтов стерлингов. Спустя год мы снова видим Маркса в ломбарде. Он достаточно хитер, чтобы скрыть от Энгельса размеры полученного наследства, и пишет другу: «Я записываю теперь расходы пенс за пенсом, потому что сам диву даюсь, куда мог потратить деньги...» Далее он признается: «Я живу не по средствам, да и вообще последний год мы жили роскошнее, чем раньше...»

Притом Маркса никак нельзя отнести к богеме (хотя такое мнение бытует). Он не похож на прожигателей жизни, которые швыряют деньги направо и налево, а потом живут в отрепье, роясь на помойках в поисках пропитания. Как утверждает его биограф Вернер Блюменбург, Маркс и его жена в своих вкусах и образе жизни были истинные буржуа: «Женни Маркс вовсе не пыталась пускать пыль в глаза. И сам Маркс старался выглядеть в глазах посетителей и вообще посторонних людей человеком без особых претензий».

В этом отношении Маркс был прямой противоположностью Моцарту, который тоже не умел считать деньги, но никогда не впадал в уныние, если они вдруг заканчивались. Как и Маркс, он писал жалобные письма, когда оказывался на грани нищеты. Вот, например, что пишет 32-летний Моцарт своему брату по масонской ложе Пухбергу:

«Только Ваша истинная дружба и братская любовь дают мне смелость просить Вас об очень большом одолжении. Я помню, что должен Вам восемь дукатов. Но мало того, что в настоящий момент я не в состоянии вернуть их Вам, мое доверие к Вам так велико, что я рискую обратиться с просьбой одолжить мне до будущей недели (когда я начну давать концерты в казино) еще сто флоринов. К этому времени у меня окажутся на руках деньги, которые я

должен получить по подписке, и тогда я без малейшего труда верну Вам сто тридцать шесть флоринов...»

Правда, вернуть долг оказалось для Моцарта гораздо сложнее, чем ему казалось, и за первым письмом брату по ложе последовало второе, третье... За полтора года их было больше десяти. Конечно же Моцарт зарабатывал не слишком много, а если сравнивать с масштабами его гения, то и вообще пустяки. Вспомним, однако, что во времена Моцарта (да и вообще до XIX века) свободные художники, прежде всего композиторы, поэты и писатели, эксплуатировались без зазрения совести, в отличие от наших дней, когда интеллектуальное право защищено законом. Моцарт, например, получал за свои оперы только гонорар за партию — и никаких процентов за постановки! Даже поступления от написанных им фортепьянных концертов были совсем ненадежными. Например, когда Моцарт решил напечатать клавиру оперы «Похищение из сераля», оказалось, что книгоиздатель из Аугсбурга уже опередил композитора и напечатал ноты, которые бойко продавались, не принося никаких доходов автору.

Но, с другой стороны, нельзя сказать, что Моцарт зарабатывал так мало, чтобы на эти деньги нельзя было прожить. Если он и отдавал издателям свои произведения за смехотворную цену, то причиной тому был его расточительный образ жизни. Иногда в этом винят жену Моцарта. Заметим, однако, что, овдовев и затем выйдя замуж во второй раз, Констанца оказалась весьма рачительной хозяйкой. Просто за Моцарта она выходила замуж совсем юной девушкой и целиком подчинилась беспутному, мотовскому образу жизни мужа. Как только появлялись деньги, они тут же, не считая, тратили их на еду, вино и одежду.

Моцарт служил концертмейстером и придворным органистом в Зальцбурге и по окладу был приравнен к надворному советнику. К тому же он получал, пусть и нерегулярно, гонорары как свободный художник. Он давал платные концерты в переполненных залах. Некоторые из сочинений Моцарту удавалось продать весьма дорого, да и за уроки фортепьяно и композиции он брал изрядную плату. Когда

его отец Леопольд посетил юную чету в Вене, он написал дочери домой: «Я полагаю, что сын, если не будет отдавать долги, мог бы сейчас положить в банк две тысячи флоринов. Деньги у него, без сомнения, есть; хозяйство в том, что касается еды и питья, ведется вполне разумно».

Однако Моцарт, который к этому времени за один концерт получал пятьсот гульденов, вовсе не собирался класть деньги в банк. К тому же он спускал много денег на игру в бильярд.

Если Моцарт в денежных вопросах проявлял легкомыслие и относился к деньгам равнодушно, Оноре де Бальзак всю жизнь стремился вложить деньги с толком, чтобы получить проценты. Другое дело, что он всегда терпел крах. И главная причина неудач в том, что Бальзак, который работал, подчиняясь железной дисциплине, и часто получал очень высокие гонорары, не умел обращаться с деньгами. Постоянное невезение в финансовых делах усугублялось и тем, что свои грандиозные проекты он затевал, как правило, с помощью чужих денег.

Издательство, которое он основал на занятые деньги, обанкротилось, и Бальзак вместо прибыли вынужден был выплачивать долг. Он снова одолжил денег и купил типографию — через год предприятие тоже обанкротилось. Бальзак одолжил деньги в третий раз и купил мастерскую по отливке типографских литер. Эта затея провалилась уже через пять месяцев, и гора долгов выросла с Монблан. К вящей беде Бальзак вовлекал в банкротство и других людей.

Писатель одалживал деньги, исполненный неколебимой веры в себя и свою невероятную работоспособность. Он продавал права на романы, за которые еще не сядил. Однако раз за разом его преследовали неудачи. Он вложил деньги в серебряные рудники — одни убытки, купил акции железных дорог — без всякого прока. Растущие долги принуждали Бальзака работать еще более напряженно. Его *idée fixe* было провести удачную операцию и враз освободиться от всех финансовых обязательств.

Когда он приехал в гости к Ганской — своей будущей супруге — и увидел, сколько дубовых роуц растет на ее

землях, он тут же подсчитал, что продажа дубового леса во Францию, а ведь «для железнодорожных шпал требуется неимоверное количество дуба», за вычетом всех расходов по оплате лесорубов, пильщиков, транспорта, вклада банкира, который поддержит проект, принесет семье полмиллиона франков чистой прибыли. Но семья графини Эвелины Ганской напрочь отказалась участвовать в этом предприятии и скорее всего уберегла Бальзака от еще одной неудачи.

А писатель просчитывался всегда, о чем бы ни шла речь: о покупках, перестройке или оборудовании дома, о любых других расходах. Когда на пятьдесят первом году жизни он переехал с женой в собственный дом, он подсчитал, что его обустройство обойдется в сто тысяч франков, — оказалось, что Бальзак просчитался ровно в три раза! Долги росли, а силы убывали. Тогда Бальзак ударился в экономию: надо уволить служанку, чтобы сэкономить на ее зарплате и питании, рассуждал Бальзак, который незадолго до этого носился с миллионными проектами. Он просит сестру присылать каждый понедельник свою кухарку, чтобы та варила еду на неделю для него, жены и слуги. Но писатель слишком поздно взялся за ум. Вскоре после переезда в собственный дом Бальзак умер, и все его достояние пошло с молотка, чтобы хотя бы частично уплатить кредиторам.

Слишком дорогой дом стал камнем преткновения и для Рембрандта. К тому же он тоже не умел вести дела и был заядлым коллекционером: покупал полотна, ковры, драгоценные камни, жемчуг, оружие, рыцарские доспехи, старую мебель, китайский фарфор, венецианское стекло. Рембрандт жил на широкую ногу; ему казалось, что его положение преуспевающего художника и приданое жены Саскии фон Уленбург позволяли вести такой образ жизни. Однако страсть к коллекционированию, уменьшившаяся продажа картин и (после скандала с «Ночным дозором») уменьшение заказов вынудили Рембрандта объявить себя банкротом. Ему было тогда пятьдесят два года, и выплатить ссуды, взятой на покупку дома, он уже не мог. Его коллекции были проданы на аукционе, дом пришлось продать — вы-

ручка не покрыла даже долгов. Сын Рембрандта и рано умершей Саскии Тит и Хендрика Стоффелс, с которой Рембрандт жил многие годы, основали торговый дом по продаже произведений искусства, и два года спустя в качестве служащего туда поступил работать гениальный художник, создатель бесценных творений!

Шиллер зарабатывал не так много, как Рембрандт, но и он просчитался при покупке дома, хотя дело завершилось не так, как у Рембрандта. С самого начала дом означал для Шиллера невероятное финансовое бремя. Шиллеру шел сорок второй год, у него была жена и двое детей, когда он решил продать садовый домик в Йене и обзавестись новым в Веймаре. 11 февраля 1802 года он пишет Гете:

«Я думаю купить дом Мелиша. Решение это далось мне с трудом, но все же это надо сделать, чтобы избавиться по меньшей мере от одной заботы. В этих обстоятельствах мне вдвойне необходимо продать свой маленький домик в Йене, и я прошу Вашего содействия. Я прилагаю объявление, которое надо дать в еженедельной газете с кратким пояснением, во что обходится содержание такого домика (налоги и тому подобное). Я заплатил за него в свое время тысячу пятьсот талеров и вложил еще пятьсот, что подтверждено счетами. Я хотел бы при продаже дома хотя бы немного выиграть, а не потерять...»

Таким образом, Шиллер хотел получить не меньше тысячи пятисот талеров. Через восемь дней Гете отвечает, что говорил кое с кем о продаже садового домика, и у него сложилось мнение, что люди сомневаются, что за него можно выручить столько, сколько Вы хотите». И все же спустя еще десять недель он поздравляет Шиллера: «Примите мои искренние поздравления, что Вам столь удачно удалось поменять место жительства! Я буду рад встретить Вас здоровым и деятельным в Вашем новом, радостном, солнечном, окруженном зеленью жилище!»

Шиллера очень угнетали долги, которые он сделал в связи с покупкой дома, и неважное здоровье, он был озабочен судьбой жены и детей. Когда жена ждала четвертого ребенка, Шиллер углубился в финансовые расчеты вплоть

до 1809 года, когда ему должно было исполниться пятьдесят лет. Основной его доход заключался в постоянном жалованье, которое выплачивал герцог и которое составляло всего четыреста талеров в год (Гете получал ежемесячный министерский оклад в три тысячи!). Сорокачетырехлетний Шиллер пишет Гете: «Чтобы пристойно жить, мне нужно две тысячи талеров, две трети из них мне удастся получить на гонорарах от моих книг, это где-то тысяча четыреста — тысяча пятьсот талеров. Как было бы хорошо добавить к ним еще тысячу! Если нет возможности сразу увеличить мое жалованье с четырехсот до тысячи, то я просил бы герцога сообразоваться поднять его сейчас до восьмисот и оставить мне надежду через несколько лет довести его до тысячи. Скажите мне, мой лучший друг, который так хорошо осведомлен в здешних обычаях и моем положении, что Вы думаете обо всем этом и считаете ли Вы, что я могу обратиться к герцогу с такой просьбой, не боясь показаться нескромным».

Тот факт, что Шиллер вообще рискнул просить удвоить свой оклад, связан с предложением, полученным им из Берлина. Подробности неизвестны, но речь шла о годовом жалованьи в три тысячи талеров и придворном экипаже. И все же Шиллер остался в Веймаре, где герцог действительно увеличил его содержание до восьмисот талеров. Росли доходы и от литературного труда, однако он был по-прежнему озабочен будущим своей семьи и постоянно делал подсчеты наперед: «Если жизнь и здоровье мне позволят...» — с этих слов начинал он всегда свои выкладки. Шиллер не дожил до пятидесяти лет, он умер в сорок пять. Писатель влез в долги, заботясь о семье, для которой непременно хотел построить дом.

Романтик Фридрих Шлегель — поэт, критик, основатель немецкой индологии — долгов по чистому легкомыслию. Мать жалуется в письме к старшему брату Августу Вильгельму: «Снова возвращаюсь к Фрицу. Я очень беспокоюсь, что он ни в чем не хочет себя ограничивать. Он — такая тонкая натура, ему хочется жить на широкую ногу, он живет одними надеждами, а когда все они одна за другой рухнут, я боюсь, как бы с ним не случилось беды».

Мать опасалась не только долгов легкомысленного Шлегеля, но и его безрассудного в глазах любящей матери образа жизни. В другом письме к Августу Вильгельму она жалуется: «Уже в романе («Люцинда») Фриц обнаруживает себя как человек, не признающий религии и моральных устоев. Я бы предпочла, чтобы он был ординарной личностью, но добрым и полезным человеком».

И мать не зря беспокоило легкомысленное отношение Шлегеля к деньгам. Всю свою жизнь он не вылезал из долгов, правда, всегда кто-нибудь помогал ему из них выпутываться, сначала мать, потом старший брат, потом друзья и, наконец, жена. А ведь Шлегель всегда неплохо зарабатывал, вначале своими литературными трудами, а впоследствии занимая пост советника посольства при Меттернихе. Но, работая в посольстве, он настолько увяз в долгах, что вынужден был отправить жену с сыновьями в Рим, чтобы сократить расходы по дому.

Впрочем, понятие «ограничивать себя» для каждого свое. Фридрих Шлегель оставил целое состояние в ресторанах и кофейнях. Во время Венского конгресса он был под надзором полиции, и в архивах остался доклад шпика: «Придворный секретарь Шлегель ежедневно бывает в ресторанах и всегда заказывает к обеду вино. Он часто меняет рестораны, обедая то в кофейне в Херренгассе, то в ресторане «Бенко» на Штефанплатц, то в винном погребок «К розе» на Грабене, то у Ленке в Лиленгассель, то у Рейха на Высоком рынке. В день он посещает две-три кофейни, а то и больше, а 15-го был во всех пяти подряд и везде подкреплялся».

Фридрих Шлегель умер в возрасте пятидесяти шести лет, по-видимому от инфаркта. Он оставил не только гору неизданных рукописей, но и, как констатировала вдова, «много долгов и никакого состояния». Его образ жизни, в котором мать усматривала только неумение себя ограничить (это о человеке, который ставил перед собой задачу поднять на новый уровень всю современную науку), был связан с его пониманием гениальности. Важным проявлением гения, а Шлегель не без основания относил себя к таковым, является

ся свобода. «Я не могу существовать в оковах, — писал он брату, — я хочу жить такой жизнью, какая мне заблагорассудится, не заботясь о том, к чему это может привести».

Похожей точки зрения придерживался другой великий романтик, имя и произведения которого известны всему миру, — Эрнст Теодор Амадей Гофман. И по сей день многие его фантастические романы и более семидесяти рассказов (достаточно вспомнить такие, как «Эликсир дьявола», «Житейские воззрения кота Мурра», «Щелкунчик и мышинный король», который послужил основой для знаменитого балета Чайковского) относятся к бестселлерам. По образованию Гофман был юристом и даже работал советником при Берлинском суде, но при этом являлся блистательным поэтом, художником, музыкантом, композитором, причем во всех областях творчества он намного опережал свое время. Гофман умер сорока шести лет и оставил после себя столько долгов, что жена вынуждена была отказаться от прав на наследство.

Больше всего денег Гофман тратил на спиртное. Он изрядно выпивал, и неудивительно, что в числе его главных кредиторов оказался владелец берлинского винного погребка, в котором писатель в течение многих лет коротал вечера. После смерти Гофмана хозяин погребка объявил, что отказывается от притязаний на тысячу сто шестнадцать рейхсталеров и двадцать один грош, которые ему задолжал поэт, поскольку Гофман с лихвой покрыл этот долг, привлекая в его погребок многочисленных посетителей.

Известный австрийский поэт эпохи бидермейера Адальберт Штифтер тоже никогда не мог свести концы с концами. Он всякий раз просил у издателя аванс, жалуясь, что денег не хватает. А между тем у него был высокий титул школьного советника, а в конце жизни ему назначили солидную пенсию. Нельзя сказать, что он жил расточительно, но Штифтер с супругой полагали, что должны вести «достойный» образ жизни, то есть иметь большую квартиру, модный гардероб, постоянную ложу в театре, фиакр для госпожи школьной советницы. Штифтер к тому же был страстным коллекционером антикварной мебели. Немалые



средства расходовались на вкусную и обильную еду, вино, сигары и лучшие сорта гаванского табака. А поездки в Карлсбад, а расходы на полотна, краски и кисти, ведь Штифтер полагал себя недурным художником. А путешествия!

Штифтеру было тридцать шесть, когда он написал первые рассказы, и тогда уже он обращается к издателю Густаву Хекенасту с просьбой выдать ему аванс, поскольку он «крайне нуждается». С тех пор Штифтер находил все новые и новые аргументы, чтобы подкрепить свои просьбы о гонораре. То ему своевременно не заплатили Меттернихи, у которых он служил домашним учителем, то ему надо выплатить долги своих сестер. В тридцать восемь лет он задолжал издателю целых два тома рассказов и уверял того в письме: «Я никогда не стану искать для себя иного издателя». Не проходит и года, как он обращается к Хекенасту с новым письмом: «24 апреля мне пришлось заплатить проценты по всем ссудам, и я вновь оказался без денег. Прошу дать мне аванс». Тут же он признается: «В финансовом отношении у меня все в порядке, просто весной расходы почему-то увеличиваются».

Хекенаст шел навстречу просьбам писателя, и Штифтер попадал во все большую зависимость от него, поскольку запаздывал со сдачей рассказов в типографию. В сорок шесть лет Штифтер вынужден был полностью отказаться от всех прав на свои «Этюды», которые составили к тому времени уже шесть томов, в пользу Хекенаста.

В том же году он получает повышение по службе, хорошее жалованье и, как казалось, обеспеченность до конца жизни. Любому этого хватило бы. Но не Штифтеру! Уже через полгода он пишет Хекенасту: «Вы не могли бы дать мне немного денег. Я присмотрел неподалеку от своего дома премилый садик и хотел бы его приобрести, я ведь так люблю цветы и всякую растительность...» И снова — полная зависимость от издателя и необходимость переуступить ему права на «Пестрые камни» — еще не написанную книгу.

В последующие годы в письмах к Хекенасту речь снова и снова идет о деньгах и об авансах. Долги растут, но

Штифтер не теряет надежды и пишет своему издателю: «Вы только не смейтесь. Я купил несколько акций займа и в апреле 1855 года выиграю двести тысяч флоринов, так что со всеми долгами будет покончено. Если удача не будет слепой и улыбнется тому, кто ее заслуживает, я куплю себе квартиру в Вене, милый, но простой дом в деревне, повешу там несколько хороших картин и буду окружен полевыми цветами».

Увы, удача слепа. Можно сказать и иначе: Штифтер, хотя и был большим педантом, никогда не мог правильно свести свои доходы с расходами. Он всегда был опутан денежными обязательствами, всегда просил друзей и знакомых одолжить ему денег. Всю свою жизнь он не только мечтал разрешить все свои проблемы одним ударом, но и предпринимал для этого отчаянные попытки: пускался в рискованные спекуляции акциями (и всегда неудачно), покупал лотерейные билеты (ни одного выигрыша), и пр. и пр.

В этом отношении Маркс был более прозорлив: «Лучше бы мне родиться предпринимателем! — писал он Энгельсу. — Теории, мой друг, все серые, и только бизнес цветет вешним цветом. К сожалению, я понял это слишком поздно».

# РИСК В ПУТИ

**Н**екоторые полагают, что риск в пути — проклятие и рок именно нашего безмерно технозированного времени: чтобы захватить самолет с пассажирами и экипажем, достаточно немного наглости и чуточку динамита, собственно, достаточно одного утверждения, что на борту динамит, и все требования будут выполнены. Чем дальше движется прогресс, тем выше риск стать мишенью террористов, тем меньше уверенность, что в пути с тобой ничего не произойдет.

Более того, вся «идея» терроризма, хотим мы этого или не хотим, основана на технических достижениях XX века. Зачем злодею прошлых столетий брать в заложники, скажем, жену банкира, если об этом никто не мог узнать (не было телефонов), если об этом никто не мог разрезвонить по всему миру (не было электронных средств массовой информации)?

Пессимисты и противники прогресса вздыхают по «старым добрым временам» и полагают, что прошлое, пусть время тогда шло куда более медленно и неспешно, было и более безопасным.

Между тем это не так. Пираты существовали спокон века, и их манеры ничуть не изменились. Само слово «пират», взятое из греческого, сохранилось, да и суть пиратства осталась прежней. Другое дело, что стихия пирата — морская гладь, зато и было их куда больше, чем нынешних воздушных террористов.

Уже у Гомера находим:

Может, хотите пиратов вы искус изведать?  
Наглы и горды они, беды несут для торговца.

Марк Туллий Цицерон, римский оратор и политик, убитый врагами в 43 году до н. э., автор европейской идеи толерантности, сказал однажды: «Пират — враг любого и каждого, его не остановит ни слово, ни клятва». За два года до того, как Цицерон произнес эти примечательные слова, двадцатипятилетнего Цезаря, который направлялся на остров Родос, где находилась знаменитая школа ораторов, неподалеку от Милета похитили морские разбойники.

Пираты в те времена чувствовали себя в Средиземном море совершенно вольготно, весело прожигая захваченную добычу и выкуп за похищенных людей. Получение выкупа было налаженным бизнесом — по распоряжению римских властей расходы, возникавшие в результате разбоя пиратов в восточной части Средиземного моря, несли города, расположенные на побережье Малой Азии. За Цезаря пираты назначили выкуп в двадцать талантов (сто тысяч золотых марок по сегодняшнему курсу). По преданию, Цезарь, никогда не страдавший комплексом неполноценности, высмеял разбойников и воскликнул: «Плохо же вы понимаете, кого захватили!» Более того, историки утверждают, что он заставил пиратов поднять выкуп за себя до пятидесяти талантов, и этот необыкновенно высокий выкуп им выплатили.

Если Цезарь столь искусным путем (и, собственно говоря, за казенный счет) поднял свою репутацию, то во всем прочем он поступал так, как поступали многие и до, и после Цезаря, то есть вступал с пиратами в сговор и использовал их. В истории мы находим немало имен феодалов, королей, князей, — да что там! — пап, которые не гнушались сделок с пиратами, терпели их или даже натравливали на своих противников. Поэтому пиратство и процветало так долго.

Правда, тут Цезарь поступил иначе: едва его отпустили, будущий первый консул нанял корабли, догнал пиратов и распял их на крестах.

В те же годы Дионисий I, тиран из Сиракуз, использовал пиратов, чтобы избавиться от своего политического противника философа Платона. Когда Платон после первой поездки на Сицилию возвращался в Афины, морские разбойники захватили судно, на котором находился Платон, и философа через несколько недель выставили на продажу на рынке рабов в Афинах. По счастью, там его увидел друг, у которого хватило денег, чтобы выкупить философа (так сообщает Диоген Лаэртский, и многие историки склонны считать это правдой). Все это произошло две тысячи триста лет тому назад.

Теснейшим образом сотрудничала с пиратами английская королева Елизавета I, дочь Генриха VIII и Анны Болейн. Она взяла к себе на службу Фрэнсиса Дрейка. Одно время он занимался работоторговлей, перевозил на кораблях негров из Африки в Новый Свет, где и продавал их испанцам. Потом он переключился на еще более выгодное пиратство в Карибском море, где брал на abordаж испанские галеоны, всегда сулившие богатую добычу. Какие бы задачи ни значились в официальных бумагах, которыми королева снабдила Дрейка, он по-прежнему занимался разбоем.

Пират получил от королевы деньги на организацию «экспедиции». В конце 1557 года он покидает Плимутский порт на пяти кораблях со 164 моряками и направляется в Южную Америку, где грабит прибрежные города. На «Золотой антилопе» он огибает земной шар и в 1580 году возвращается в Плимут с золотом, серебром, драгоценными камнями, шелком и пряностями. Елизавета I лично поднялась на борт, чтобы своими глазами увидеть несметные богатства, и присвоила Фрэнсису Дрейку в знак признания его заслуг перед Англией дворянское звание. В последующие годы уже сэр Фрэнсис Дрейк отличился в сражениях против испанцев и был в последние годы вице-адмиралом, который руководил разгромом «Непобедимой армады» в 1588 году, бургомистром Плимута и членом парламента.

Еще дальше по «служебной лестнице» продвинулся в начале XV века корсар Бальтазар Косса, который сперва

разбойничал в Тирренском море, а потом с бандой наемников захватил город Болонью и положил его, так сказать, к ногам папы Бонифация XI. Бонифаций в благодарность за услугу назначил Коссу своим помощником, а потом и кардиналом. Бывшему пирату нелегко было утвердиться в собрании священнослужителей, но он действовал умело и настойчиво. В 1410 году Косса выдвинул себя и был выбран Папой (третьим по счету, поскольку один папа уже был в Риме, а другой — в Авиньоне). Косса продержался на папском троне под именем Иоанна XXIII пять лет, потом его сместили, и он стал антипапой. Но еще через несколько лет он получает титул кардинальского епископа в Тусканском приходе.

И Дрейк, и Косса подтверждают ту мысль, что невыгодно всю жизнь заниматься пиратством и что гораздо разумнее своевременно сменить кафтан корсара на мундир государственного служащего. Тем более что власти периодически делали попытки освободить моря от разбойников, и не без успеха. Еще во времена Цезаря, когда пиратов развелось так много, что под угрозой оказались поставки пшеницы в Рим, порядок на морях было поручено навести полководцу Гнею Помпею. Он собрал немалое войско как на море, так и на суше, чтобы преследовать пиратов повсюду. Флотилия Помпея насчитывала пятьсот судов, притом нового типа, небольших, быстрых, маневренных.

Такой же поход был организован полторы тысячи лет спустя против «братьев витальеров», которые называли себя так, потому что они-де дружно, по-братски делили между собой добычу, взятую с судов, ходивших в Северном и Балтийском морях. На их судах был хороший такелаж, который позволял им управляться с парусами куда лучше, чем это делалось на неповоротливых торговых парусниках.

Успех в борьбе с пиратами пришел лишь тогда, когда жители Гамбурга оснастили против них судно по новейшей парусной технологии — знаменитую «Пеструю корову». «Корова подняла на рога» флагманский корабль витальеров. В плен был взят знаменитый предводитель пиратов Клаус Штертебекер. Его казнили у ворот Гамбурга, а голо-

ву насадили на кол. Та же участь постигла через некоторое время и «подельника» Штертебекера Гедеке Михельса и еще семьдесят двух пиратов. Все это произошло в 1402 году.

Андреа Дориа, возведенный императором Карлом V в XVI веке в звание полного адмирала, сумел добиться перевеса в морских сражениях также благодаря превосходству в оснащении своих галер. Галеры, правда, были тяжеловатые, зато неприступные, как крепость. Андреа Дориа должен был освободить Средиземное море от турок и вступивших с ними в альянс туниских морских корсаров, которыми командовал пиратский адмирал Азор по прозвищу «Красная борода». В 1535 году Дориа захватил в Тунисе штаб-квартиру Азора. Однако «Красной бороде» удалось улизнуть, и он еще некоторое время наводил страх на торговые суда.

Несмотря на успехи флотилии Дориа, Средиземное море долго еще оставалось пиратским раем, немало путешественников вынуждены были платить за необходимость пересечь морскую гладь свободой, здоровьем, деньгами, а то и самой жизнью. Одним из многих, испивших горькую чашу страданий, был Мигель де Сервантес Сааведра, автор «Дон Кихота». В двадцать один год Сервантес покинул Испанию и отправился в Италию, где нанялся в моряки. Там собирали флот для морских сражений с турками.

Сервантес принял участие в знаменитой битве при Лепанто 7 октября 1571 года, в которой испанско-венецианский флот под предводительством Хуана д'Аустриа, сводного брата короля Испании Филиппа II, нанес туркам сокрушительное поражение. Сервантес находился на испанской галере «Ла Маркеза», которая сходилась с турками борт о борт. Сервантес проявил чудеса храбрости и был ранен. Он показал себя храбрым человеком и в дальнейших сражениях и должен был быть произведен в капитаны. Сервантесу тогда было уже двадцать восемь лет. В сентябре 1575 года он направляется в сопровождении брата Родриго, тоже служившего на флоте, на галере «Эль Соль» в Испанию, имея при себе рекомендательные письма дона Хуана

д'Аустриа и вице-короля Испании в Неаполе. У впадения в Средиземное море реки Роны «Эль Соль» атаквали три турецкие галеры. Команда была взята в плен.

Братья Сервантесы были проданы в рабство алжирскому паше. У Мигеля нашли рекомендательные письма, и поэтому братьев сочли особо важными персонами, за которых можно взять большой выкуп. Это обстоятельство, однако, принесло и некоторые выгоды, во всяком случае, у Мигеля за неоднократные попытки побега не отрезали носа и ушей, как поступали с другими рабами.

Сервантес пытался убежать, как только освободился от оков. Вместе с другими заключенными он подкупил мавра, который их охранял, и уговорил его отвезти их в Оран, который еще принадлежал испанской короне. После дня пути мавр бросил испанцев, без провожатого им не оставалось ничего иного, как вернуться в Алжир. Сервантеса избили плетью, на долгое время заковали и приставили к нему усиленную охрану.

Тем временем одного младшего офицера, который попал в плен вместе с Сервантесом, выкупили. Он рассказал родным Сервантесов об их судьбе. Отец Мигеля заложил весь домашний скarb, включая приданое еще не вышедшей замуж сестры, чтобы выкупить сыновей. Но когда деньги доставили в Алжир, хозяин, рассматривавший братьев как свою собственность, объявил, что за эти деньги может отпустить только одного.

Мигель отправил домой брата с тем, чтобы тот как можно скорее снарядил фрегат и через год забрал его и других попавших в беду испанцев в уговоренном месте на побережье. Уповая на брата, Сервантес уговорил бежать еще четырнадцать узников. Они отыскиали за городскими стенами пещеру в скале, где можно было прятаться до прихода фрегата, и в течение нескольких недель подкупленные местные жители собирали в пещере необходимый провиант. Последним к беглецам присоединился сам Сервантес. В уговоренный день на горизонте показались паруса испанского фрегата, но алжирские моряки заметили судно, подняли тревогу, и затея провалилась. Беглецов снова поймали, а



Сервантес, который признался, что это он готовил побег, провел в цепях уже несколько месяцев.

Но Сервантес не терял надежды. Он уговорил одного из конвойных передать письмо начальнику испанского гарнизона в Оране. Конвойного схватили по дороге в Оран. За письмо, в котором Сервантес просил соотечественников прийти на помощь, его приговорили к двум тысячам палочных ударов, правда, потом смягчили наказание.

Сервантес подготовил еще один побег, на этот раз пятьюдесяти невольников. Речь снова шла о снаряжении фрегата, который должен был подобрать испанцев. План побега выдал доминиканский монах, который хотел предательством облегчить собственную участь.

Четыре года Сервантес провел в алжирском плену. Все это время родственники собирали деньги на выкуп. Жадный алжирец требовал пятьсот золотых талеров. Родственники делали все возможное, чтобы собрать эту немалую сумму, они даже написали письмо королю, но испанскую корону, в отличие от рабовладельческого Рима, не очень волновала судьба соотечественников.

Наконец семья вручила триста талеров монаху ордена Трех ипостасей, чтобы тот передал их руководству ордена, известного своей посреднической деятельностью в Алжире. Монахи добавили недостающие деньги с помощью торговцев-христиан, имевших лавки в Алжире (мусульмане вполне терпимо относились к христианам, лишь бы неверные платили отступное), правда, только в виде кредита, который Сервантес обязался вернуть в испанском Оране. 19 сентября 1580 года, через пять лет и один месяц рабства, Мигель де Сервантес наконец обрел свободу.

Ему было уже тридцать три года, и продолжительное пребывание в плену не прибавило Мигелю физических сил. Сервантес не видел возможности зарабатывать деньги на военной службе. Поэтому ему не оставалось ничего другого, как сесть за письменный стол. Вначале из-под его пера вышел пасторальный роман, — этот жанр пользовался в XVI веке большой популярностью, потом — несколько пьес, в том числе и про работоторговцев в Алжире. Литера-

турным трудом было не прожить, и Сервантес еще раз подался на флот, работал надсмотрщиком на галерах, квартирмейстером, но потом снова взялся за перо. Сервантес задумал сатиру на рыцарские романы, которые наводнили в это время книжный рынок, и написал своего «Дон Кихота», сделавшего бывшего моряка бессмертным. Первая часть романа появилась в 1605 году.

В произведениях Сервантеса немалую роль играют пираты и работоторговцы, еще большую роль играли они в Средиземном море, которое рассматривали как свою вотчину и где регулярно собирали дань. Воды бассейна были небезопасны еще и в XVIII веке.

Хирург Иоганн Фридрих Кесслер в своей книге «Путешествия по суше и по морю» рассказывает, как в 1775 году у берегов Северной Африки попал в плен к пиратам. Раненого Кесслера привезли в Алжир и продали одному берберу; тот держал невольников в подвале дома под замком. У Кесслера на ноге была серьезная рана, и его перевели в лазарет. В те времена все алжирцы, по словам Кесслера, жили только за счет труда пленных христиан или на выкуп, полученный за них же. Судьба Кесслера сложилась сносно благодаря тому, что хирург ловко владел бритвой:

«Молва о моем искусстве в обращении с бритвой быстро разнеслась по всему городу. Однажды ко мне подошел главный смотритель лазарета и приказал следовать за ним. Я повиновался и очутился вскоре в одной из комнат его дворца, где на стол было выложено с дюжину отличных бритвенных лезвий. Не говоря ни слова, смотритель начал сбрасывать с себя многочисленные одежды, пока не обнажился до конца. Он велел мне сбрить волосы всюду, где их обнаружу. Я не знал, что мавры имеют обыкновение сбривать свои волосы, когда на небе появляется бледный полумесяц, поэтому несказанно удивился его приказу. Но тут же взялся за дело и исполнил свою работу к вящему удовольствию смотрителя».

На следующий же день смотритель нашел клиента, который готов был заплатить за высокое искусство брадобрея.

Разумеется, он хотел сам заработать на этом. «Меня привели в богатый дом с большим тенистым садом и анфиладой роскошно убранных комнат. В одной из них на шелковом диване восседал хозяин дома. Смотритель, кивнув на меня, о чем-то долго говорил с хозяином. Тот довольно дружелюбно посмотрел на меня и показал жестом на дверь, после чего смотритель взял меня за руку и повел в другое помещение, где хлопотали две немолодых женщины. Наполнив большую серебряную ванну водой, они тотчас удалились, и вошел их господин и повелитель (которого я видел сидевшим на диване), с ним кулон — мальчик-раб с острой бритвой в руке. Хозяин разделся, залез в ванну и кивнул мне, что можно начинать. Я, как мне кажется, вполне успешно удовлетворил все его пожелания, выраженные пантомимой. Он немедленно передал мне шесть сопиков (по-нашему, это примерно четыре гроша), но стоило мне оказаться за порогом дома, как подлый смотритель отнял у меня деньги, оставив мне всего один грош. По чести сказать, и эта ничтожная сумма вдохновила меня, потому что я уже много времени не держал в руках ни крейцера».

На паях со смотрителем Кесслер поставил свое ремесло на широкую ногу. Его освободили от других работ, и он мог относительно свободно перемещаться по городу, хотя к вечеру непременно должен был возвращаться в подвал. Однажды он познакомился с французским консулом в Алжире. Тот выслушал его историю и пригласил жить в своем доме. Дела парикмахера пошли в гору:

«Мне не приходилось особенно утруждать себя. Я каждый день брил консула и его секретаря, в мои обязанности входило также закупать на рынке провизию вместе с поваром. Я стал весьма известной личностью в респектабельных мавританских домах и в домах других консулов, куда меня часто посылали с письмами и поручениями.

Консул любил слушать рассказы о моих похождениях и слушал иной раз часами, он величал меня своим верным тевтоном — это имя приятно ласкало мой слух, и я старался быть достойным его. Я чувствовал себя в доме консула превосходно и редко вспоминал о своем рабском состоя-

нии. Однажды Аддала Каиб потребовал, чтобы я в знак своего невольничьего положения обернул ногу проволокой, но мой добрый консул освободил меня от этого унижения, задоблив строгого мусульманина щедрым подарком».

Около года Кесслер провел в доме француза, пока наконец в Алжир не приехали испанские миссионеры, которые собирали деньги по всей Европе, чтобы выкупать плененных христиан, число которых, по оценке Кесслера, составляло не меньше тридцати тысяч человек. Среди выкупленных счастливых оказался и хирург, не в последнюю очередь благодаря своим связям: «Доброе сердце консула и его заступничество произвели такое впечатление на миссионеров, что я попал в число восемнадцати невольников, выкупленных миссионерами. Я был единственным среди них немцем. Трудно представить себе мой восторг и упоение, когда я услышал о моем освобождении. Я воспрял духом, кинулся в ноги моему благодетелю и слезами выразил ему свою признательность, потому что говорить не мог».

Таким образом, проведя три с половиной года в неволе, Кесслер снова стал свободным человеком. В сентябре 1778 года он покинул Алжир.

Гете, например, прекрасно знал, что может случиться с путешественником, вознамерившимся совершить даже небольшой морской переход по Средиземному морю, и, когда должен был в 1787 году плыть из Сицилии в Неаполь, тщательно подготовился к путешествию. В Мессине он выбрал французское судно, ходившее под белым флагом: белый цвет означал, что корвет относится к тем судам, за беспрепятственное плавание которых Париж выплачивает алжирцам, марокканцам и тунисцам определенную мзду.

Похоже, Гете (за которого Веймарский двор конечно же дал бы любое отступное) прекрасно чувствовал себя под защитой белого флага и не боялся пиратов. Ему досаждали другие напасти — морская болезнь, сильный штормовой ветер и слухи, пущенные кем-то из пассажиров, что, мол, на судне ни капитан, ни штурман ничего не смыслят в мореплавании и им ничего не стоит пустить пассажиров и все ценности на борту ко дну. Видимо, эти разговоры взволновали

тридцатисемилетнего тайного советника, который записывает в дневник: «Я попросил этого словоохотливого человека держать язык за зубами и не поддаваться панике. На борту много пассажиров с детьми, ведь французское судно под белым флагом собрало немало желающих насладиться путешествием, не опасаясь пиратов. О других возможных опасностях, подстерегающих на море, люди уже не думают. Я объяснил, что недоверие пассажиров и паника заставят капитана только нервничать и тем усугубят положение судна».

Организованное пиратство не уступало своих позиций в Средиземном море еще и в XIX веке, и христианские страны по-прежнему платили дань пиратам-мусульманам. Вот деньги, выплаченные Алжиру в 1807 году: Испания — 12 тысяч золотых франков, Голландия — 40 тысяч, Австрия — 50 тысяч, Соединенные Штаты ни много ни мало — 100 тысяч, и только гордые и жадные бритты ограничились мизерными 10 тысячами. Что касается ганзейских городов, то совокупно они заплатили больше американцев. Лишь Франция Наполеона не поддавалась шантажу и не платила ничего. После того как несколько французских судов подверглись разбойному нападению, Наполеон направил дею Мустафе письмо следующего содержания: «Если вы не перестанете захватывать французские корабли, я высажу восемьдесят тысяч человек на побережье и разрушу ваше государство до основания. Я бы очень советовал довести содержание этого письма до сведения всех, кого это касается». Угроза была воспринята со всей серьезностью. Мустафа предложил Наполеону миллион франков компенсации и впредь оставил французские суда в покое.

Однако после падения Наполеона французы снова были вынуждены платить дань, зато теперь пираты обходили стороной английские корабли, страшась могущественного английского флота. А вот от гамбургского бургомистра Марокко еще в 1819 году получило шестьдесят тысяч рейхсталеров.

Что касается скандинавских государств, то точно неизвестно, платили они пиратам и сколько, ясно только, что их тоже затронула эта беда, однако они предпочитали вместо

денег поставлять корсарам военное снаряжение. Дания, например, поставила пиратам в 1787 году сорок железных пушек, четыре бронзовые мортиры, двадцать тысяч ядер, шесть тысяч бомб, а также большое количество корабельной оснастки, такелажа, смолы, корабельных часов.

Если внимательно присмотреться, то окажется, что ситуация в XX веке мало чем изменилась по сравнению с XIX: мусульмане по-прежнему шантажируют Европу, в прошлом — пиратскими набегами, в наши дни арабы и палестинцы захватывают самолеты. В последние годы Европа является постоянным объектом угроз нефтяных шантажистов.

Лишь завоевание французами Алжира в 1830 году и последующее продвижение их по всему побережью (что, правда, повлекло за собой иные и несравненно большие потери) положило конец пиратству на Средиземном море. В других частях света, в Персидском заливе, у берегов Китая, в Вест-Индии, в том числе и на Кубе, морские разбойники еще долго угрожали мирному мореплаванью. После Второй мировой войны пираты на короткое время объявились даже на острове Гельголанд, хотя на этот раз совсем в ином обличье. На разбомбленный остров направились целые флотилии рыбачьих сейнеров. Они смели все, что осталось, и, в частности, загрузили трюмы ценными цветными металлами. Не погнушались даже бронзовым бюстом любимца фашистской Германии поэта Хоффмана фон Фаллерслебена, музейные работники обнаружили его много лет спустя в хлеву одного баварского крестьянина.

Пиратству пришел конец лишь тогда, когда все государства пришли к выводу, что пиратство должно строго караться в любой части света и что морской разбой подпадает под категорию нарушения прав человека. Постепенно такая же точка зрения начинает брать верх и в отношении воздушных пиратов. Существует общеевропейское соглашение о борьбе с воздушным терроризмом, которое, несомненно, в значительной мере привело к его сокращению.

## БЕДА С ЭТИМИ ЖЕНЩИНАМИ...

«Женщины, — сказал как-то Гете за ужином, — это — серебряные чаши, в которые мы складываем золотые яблоки».

Думал ли при этом семидесятилетний старик об умершей Христиане, с которой прожил восемнадцать лет, прежде чем наконец-то жениться на ней? Она ли, родившая ему пятерых детей (из которых выжил только один), представлялась ему серебряной чашей?

Прежде всего наверняка поэт думал, конечно, об этой женщине. Христиана была как бы сердцевинкой всего дома, центром, вокруг которого вращалась вся семейная жизнь писателя, этакий идиллический символ семейного очага. Сорокалетний Гете пишет другу: «Если рядом моя любимая девочка, если жив мой ребенок, если хорошо натоплена печь, то больше мне нечего и желать». На самом деле в доме, где жарко пылала печь (Гете всегда хорошо зарабатывал), обстановка была не такой уж идиллической. Прекрасная Христиана пригласила к себе жить вначале свою двоюродную сестру, потом тетку, а в довершение, и притом весьма надолго, еще и своего брата. Для Гете члены этого семейного клана были, что называется, непрошеными гостями, он даже надолго уехал подальше от дома. Но потом его потянуло назад. «Печально быть вдалеке от тех, кого любишь, — писал он Христиане, — время идет, и ничто не может тебя заменить».

Подчас его мучила ревность: «Люби меня! — отчаянно восклицал Гете, когда вынужден был уехать из дома, чтобы

участвовать в походе против французов. — В мыслях я часто ревную тебя, мне кажется, что кто-то другой может понравиться тебе больше, ведь я и сам нахожу многих куда красивее и привлекательнее себя. Но ты не должна видеть их такими, какими их вижу я, ты должна считать меня лучше всех, ведь я так ужасно люблю тебя и, кроме тебя, мне никто не нравится». Он дает жене разные обещания: «Если бы ты была сейчас рядом со мной! Здесь такие широкие кровати, и тебе не пришлось бы жаловаться, как иногда бывает у нас дома. Душа моя! Нет ничего лучше, как быть с тобой! Так мы будем говорить друг другу всегда, когда мы вместе».

Вот такие письма посылал Гете, когда был вдали от Христианы. Дома все обстояло совсем иначе. Здесь у тайного советника и финансиста бывало немало проблем с его «постельным сокровищем», как окрестила Христиану мать Гете. Он старался не выходить с округлившейся и более чем пухлой женой в свет; когда приходили гости, он прятал ее подальше. В течение многих лет она не принимала участия в застольях и ела на кухне. Гете показывал Христиану только близким людям, но и это подчас оборачивалось неприятностями. Шиллер, к примеру, на дух не переносил Христиану и вел себя так, как будто ее вовсе не существует. Этот «моралист» ни разу даже не поздоровался с ней. Слово «моралист» мы взяли в кавычки не случайно, потому что тот же Шиллер подумывал, нельзя ли ему жениться сразу на двух женщинах, которых он любил в равной мере, — сестрах Шарлотте и Каролине фон Ленгефельд.

Не приходится удивляться, что Гете, который попытался ввести Христиану в Веймарское общество (впрочем, без особого успеха) только когда он женился на ней, после ее смерти всячески избегал неприятностей, связанных с женщинами. С 1791 по 1817 годы он управлял театром при веймарском дворе и сказал по этому поводу Эккерману: «В театре не было недостатка в красивых и развязных девушках, и нередко меня тянуло к одной из них, притом и она не оставалась равнодушной. Но всякий раз я говорил себе: «Опомнись! Ни шагу дальше! Я хорошо сознавал, какое место я занимаю в обществе, и сознавал свою ответствен-



ность перед обществом. Я находился в театре не как частное лицо, а как должностное».

Между тем профессор университета в Геттингене Георг Кристоф Лихтенберг совершенно не признавал различий между частной и общественной сферой. Ему было уже сорок, когда он привел в дом двенадцатилетнюю цветочницу, дочку бедного ткача, и любил ее, как он сам признавался, с каждым днем все сильнее. Тем не менее он тщательно прятал этот «образчик красоты и нежности» от взглядов сограждан; два года, пока девочка внезапно не скончалась, она не смела покидать дом Лихтенберга. Смерть ее глубоко опечалила философа.

Но, погрузив какое-то довольно непродолжительное время, Лихтенберг, как он писал, не смог «воспротивиться влечению, без которого жизнь его не имела смысла». На сей раз Лихтенберг взял в дом в качестве «домоправительницы» двадцатитрехлетнюю продавщицу земляники. Однако тут у него возникли неприятности с властями, которые косо смотрели на увлечения профессора. Маленький горбатый Лихтенберг начисто отрицал все подозрения, ссылаясь на то, что он-де слишком уродлив, чтобы добиваться женской любви. На самом же деле он таки занимался со своей домоправительницей «сатанинскими» делами. Она родила Лихтенбергу восьмерых детей, и лишь когда он серьезно заболел и испугался, что вскоре умрет, он женился на ней, чтобы обеспечить существование ей и детям. Лихтенберг никогда не обладал железным здоровьем, его постоянно одолевали различные недуги, тем не менее и после этой опасной болезни он поправился и прожил еще почти десять лет в счастливом браке с продавщицей.

«Когда стареешь, — советовал он, — надо взять в дом молоденьких кошечек и козочек, чтобы заставить звучать умолкнувшие было в твоей душе струны». В пятьдесят один год он завел роман с домоправительницей хозяина дома. Она упоминается в его дневниках под именем Долли, но нередко в сопровождении слов «дьявол» и «сатана»; с ней профессор, умерший пятидесяти шести лет, «развлекался» еще за несколько дней до кончины, хотя ужасно боялся,

что Долли забеременеет или что жена (которая за время его интрижки с Долли родила еще двоих детей) об этом узнает.

Куда больше огорчений, чем радостей, принесла любовная связь с женой домовладельца Георгу Вильгельму Фридриху Гегелю. Молодой тридцатипятилетний профессор философии Йенского университета завел с ней интрижку, от которой родился сын. И с этим сыном, его звали Людвиг, позднее, когда Гегель женился на двадцатилетней девушке, он хлебнул горя. Началось с того, что мать Людвига, на которой Гегель якобы обещал жениться после смерти ее мужа, стала «самым площадным и низким образом» требовать компенсации. Сошлись на том, что Гегель, который не утаил эту связь от своей жены, взял сына к себе в дом. Однако ничего хорошего из этого не вышло. Людвиг все время чувствовал себя рядом со своими сводными братьями и сестрами человеком второго сорта, в гимназии учился так плохо, что Гегель вынужден был забрать его оттуда и определить учиться на торговца. Здесь молодой человек присвоил хозяйские деньги (всего-то восемь грошей), но профессор был настолько потрясен самим фактом воровства, что запретил ему впредь называться Гегелем. Однако он не прекращал заботиться о сыне и выхлопотал для него наконец офицерский патент на службу в голландских колониях в Ост-Индии. Сын Гегеля умер от болезни двадцати четырех лет.

Пожалуй, куда элегантнее «разрешилась» подобная ситуация у Карла Маркса, впрочем, не без помощи Фридриха Энгельса. Долгое время эта история замалчивалась, и не только потому, что она представляла не в лучшем виде всех, кто в ней оказался замешан, она как бы компрометировала социалистическое движение. Речь идет о связи Маркса с Хеленой Демут, которая в течение длительного времени вела в Лондоне хозяйство Марксов и постоянно жила в семье. От этой связи родился сын, но Маркс опасался признаться жене, которая не отличалась наивностью, но была ужасно ревнива. На помощь, как всегда, пришел Энгельс, объявив, что Фредди Демут — его сын, и таким образом

спас друга от тяжелого семейного конфликта. В истинном положении вещей Энгельс признался только перед самой смертью. Пикантность ситуации заключалась еще и в том, что Маркс и его жена настолько блюли буржуазную мораль, что в письмах называли подругу Энгельса, на которой он не был женат, не иначе как «эта женщина».

Впрочем, у другого известного социалиста, основателя социал-демократического движения Фердинанда Лассалья, также была масса неприятностей из-за женщин в результате бесчисленных связей с ними. Жил он с богатой дамой, которая была на двадцать лет старше Лассалья, однако ребенка родила ему одна молоденькая социалистка. Параллельно Лассаль соблазнил жену своего издателя, поддерживал связь еще с одной дамой из высшего общества и попутно встречался с одной работницей и одной продавщицей. Одно из любовных проклучений Лассалья закончилось дуэлью, на которой тридцатидевятилетний вождь социалистического движения был смертельно ранен. А начался этот роман в Берлине, где Лассаль познакомился с двадцатилетней Хелен фон Деннигес. Избалованная дочка баварского дипломата была обручена с молодым венгерским аристократом, тем не менее она заинтересовалась Лассалем и не отказывала ему в попытках сблизиться. Когда Лассаль отправился на воды в Швейцарию, она последовала за ним, и размечтавшийся Лассаль сделал ей предложение: «Что скажет моя золотая девочка, если я скажу ей, что в скором времени в роскошном экипаже, запряженном шестеркой вороных, она с триумфом въедет в Берлин как первая дама всей Германии?»

«Золотая девочка» ответила без промедления: «Я хочу и буду вашей женой». Однако отец ее иначе представлял себе будущее своей дочери, он обозвал Лассалья «цыганом», «паршивым евреем» и «негодником». Хелен готова была убежать с Лассалем и забыть дорогу в родительский дом, но Лассаль почувствовал себя оскорбленным до глубины души и объявил любимой: «Нет, теперь я и не подумаю тебя умыкать. Неужели отец полагает, что меня можно поносить, как мальчишку! Пусть родители добровольно отдадут

мне свою дочь! Я заставлю их сделать это; я возьму тебя только из рук родителей!» И вопреки желанию Хелен он отослал ее к родным.

Лассаль тут же пожалел о содеянном: «Мне так плохо, что я постоянно плачу, впервые за последние пятнадцать лет. Меня мучает сознание собственной глупости. Как мог я пренебречь желанием Хелен и отослать ее домой вместо того, чтобы бежать с ней куда глаза глядят! Сделанного не воротить, я стал жертвой собственной глупости. Меня грызет совесть. Если мне не удастся эта женитьба, — а я в этом сильно сомневаюсь, — то я на веки вечные конечный человек. Меня удручает не только то, что я потерял невесту, но еще больше — собственная идиотская заносчивость. Если я не добьюсь в этой истории победы, я буду презирать себя всю оставшуюся жизнь».

Сомнения Лассалья были небезосновательны, было уже слишком поздно. Хелен, очевидно, усомнилась в его чувствах и написала ему (возможно, и под диктовку отца): «Я раскаиваюсь в том, что сделала, я помирилась со своим женихом и вновь обрела его любовь и прощение. По собственной воле и со всей решимостью я объявляю, что об отношениях между нами не может быть и речи и что я отказываюсь от вас во всех смыслах».

На этом история могла бы и закончиться, но Лассаль счел себя оскорбленным и отправил отцу письмо, в котором, собственно говоря, в первую очередь оскорбил Хелен: «После того как я узнал, что ваша дочь Хелен — всего лишь простая потаскушка, женитьба на ней была бы для меня унижительной. Это дает мне возможность не откладывать далее требования о сатисфакции за все перенесенные оскорбления. Я требую оговорить все необходимые условия с двумя друзьями, с которыми я передаю настоящий вызов».

Этот вызов был тем более странным, что за несколько лет до того Лассаль отказался от дуэли, причиной которой также стало одно из его любовных приключений, сославшись на то, что дуэль является буржуазным предрассудком и противоречит его политическим убеждениям. Он даже

спрашивал тогда совета у Карла Маркса: «Я всегда считал дуэль окаменелостью, пришедшей из прошлого и несовместимой с принципами демократии. Но если я ничего не предприму, меня объявят трусом».

Маркс был против дуэли, и Лассаль не ответил на вызов и был за это жестоко избит. Однако когда Лассаль потребовал сатисфакции, ему не отказали, только перчатку поднял не отец, а жених невесты. Лассалю, пожалуй, не следовало отвечать, и история на этом и закончилась бы. Но дуэль состоялась. Она произошла в семь часов утра 28 августа 1864 года в лесочке Карруж неподалеку от Женевы. Секунданты договорились, что стреляться будут до тех пор, пока один из дуэлянтов не упадет. На каждый выстрел отводилось двадцать секунд. Один из секундантов Лассалья вспоминает: «Мы проговорили с Лассалем до поздней ночи, я обращал его внимание на то, что не надо, как он по обыкновению делал, слишком долго целиться, ведь противник может его опередить... но мои слова не возымели никакого действия».

И на самом деле Лассаль выстрелил слишком поздно. Противник не мешкал и попал Лассалю в живот. Тот выстрелил несколькими секундами позже, промахнулся и упал как подкошенный. Три дня он промучился в одной из женевских гостиниц, боли отступали лишь от уколов морфия, и умер 31 августа 1864 года.

Неприятности совсем иного рода случились с философом Артуром Шопенгауэром. Он всегда утверждал, что от женщин не следует ждать ничего, кроме беды. Тем не менее он дружил со многими, а одну даже упомянул в своем завещании. Но та, от преследований которой Шопенгауэр так страдал, не относилась к его любовницам. Это была его соседка, родственница хозяйки дома; она жила в небольшой каморке рядом с меблированной квартирой философа.

В квартиру вела небольшая прихожая, которой пользовался еще один квартирант. Однажды вечером соседка вместе с двумя другими досужими кумушками спряталась в прихожей, возможно, как думает один биограф, из любопытства, потому что Шопенгауэр ждал даму. Он потребо-

вал, чтобы женщины покинули прихожую, а когда те отказались, «приложил руку». Соседка изо всех сил артачилась, и разозленный Шопенгауэр, по-видимому, дал ей тумака, во всяком случае та обратилась в суд и представила медицинское заключение о травме руки.

Процесс длился очень долго, в конце концов суд присудил Шопенгауэру оплатить истице (у нее были две свидетельницы) курортное лечение, назначил ей компенсацию в размере трехсот талеров, а также шестьдесят талеров пожизненной ренты.

«И все это только за то, — заключил разъяренный Шопенгауэр, — что пять лет назад я выкинул эту особу за дверь, не причинив ей никакого видимого вреда».

Он опасался, что ренту придется платить до конца жизни соседки, ведь «у нее достанет ума всю жизнь трясти немоющей рукой». Так оно и случилось, и Шопенгауэр в течение двадцати лет регулярно платил ей деньги. Когда ему сообщили о смерти женщины, он ответил латинской пословицей: «obit anus, abit onus», то есть с глаз долой, из сердца вон.

В этом свете нельзя не признать совсем невинными неприятности Генриха Гейне, который в Париже влюбился в продавщицу обуви, которая не умела ни писать, ни читать, и женился на ней. «Она — единственное мое утешение, — писал Гейне, — кругленькая, крепкая, всегда неунывающая». Он ревновал, когда она танцевала с другими (сам Гейне не очень жаловал танцы) и «крутила своей толстой попкой». Но больше всего Гейне ревновал ее к попугаю по имени Кокотт. Гейне считал, что его подружка подолгу самозабвенно болтает с попугаем и начисто забывает его хозяина. Говорят, что Гейне решил покончить с этим и раздобыл крысиного яда. Смерть попугая не принесла облегчения — его красотка не могла примириться с кончиной Кокотта I, который вошел даже в историю литературы, и пришлось приобрести Кокотта II.

Смертельно больной Генрих Гейне много лет был прикован к кровати и стоит ли удивляться его ревности. Он писал: «Ах, что мне делать!.. Может ли больной конкурировать с полумиллионом здоровых мужчин...»

Не менее ревнивым был изобретатель динамита Альфред Нобель. Мультимиллионер влюбился в бедную продавщицу цветов из Вены и взял ее в свой роскошный дом в Париже. Он боялся показать ее матери и решил сперва обучить хорошим манерам, чтобы девушку можно было без опасений вывести в общество. Как тут не вспомнить «Пигмалион» Бернарда Шоу? Правда, возлюбленная Нобеля так и не научилась хорошим манерам, она умела только бездумно тратить деньги.

Нобель пишет ей с дороги письмо: «Не забывай ухаживать за своим телом, хорошо учись, хорошо питайся, хорошо спи — только в одиночку». Как раз последнее было для цветочницы абсолютно невыполнимым условием — она брала уроки верховой езды у венгра — мастера по выездке и вскоре родила от него. Позднее вместе с любовником она шантажировала Нобеля, угрожая опубликовать двести шестнадцать любовных писем, полученных от него, что вызвало бы немалый скандал. Она продолжала свои интриги и после смерти Нобеля, ставя под угрозу работу Нобелевского фонда, пока юристы, занимавшиеся реализацией завещания миллионера, не выкупили у нее письма.

«Ни одной женщине нельзя делать добро, взамен непременно получишь одну неблагодарность и предательство», — писал огорченный Нобель. Это мнение разделял бы и Фридрих Великий, который, несмотря на известные подозрения, очень даже интересовался женщинами, только не собственной женой, которую величал не иначе как «старая корова».

Долгое время пассией короля была знаменитая танцовщица Барбара Кампанини. Король Пруссии уговорил ее поступить в Берлинскую оперу, а когда она, согласившись на его уговоры, все же никак не решалась приехать, он просто выкрал Кампанини и силой привез в Берлин.

На Беренштрассе он снял для нее квартиру, куда частенько заходил с друзьями. Жалованье танцовщицы было в три раза больше, чем у министра. Ее портрет висел во дворце Сан-суси, и она была единственной женщиной, которой разрешалось посещать этот дворец. Можно себе представить,

как был огорчен Фридрих Великий, когда танцовщица вышла замуж за сына канцлера Пруссии. Он был так потрясен этим ее коварством, что отослал юную чету в провинцию. Танцовщица впоследствии развелась и умерла в преклонном возрасте, будучи уже графиней и занимая почетную должность казначея дамского благотворительного фонда.

Великий Вольтер, который состоял в переписке с Фридрихом, немало посмеялся над любовными злоключениями короля. Он знал, каким тщеславным был юный Фридрих, что же до Кампанини, то философ утверждал, что у нее «мужские ноги». Вольтеру легко было насмеяться над другими, потому что сам он жил счастливо со своей «божественной возлюбленной», интеллигентной и образованной Эмили дю Шатле. В каждом письме прусский король просил передать Эмили свои приветы и свое восхищение, хотя знал, что именно она препятствовала приезду Вольтера в Потсдам.

Эмили родила троих детей своему мужу маркизу Флорану Клоду дю Шатле-Ломону, генерал-лейтенанту на службе его величества французского короля, а потом оставила его, чтобы жить по своему вкусу. Одно время она была любовницей первого любовника того времени герцога Луи Франсуа Армана Ришелье; в двадцать семь лет она встретила с Вольтером, который был старше ее на двенадцать лет. Она прожила с философом пятнадцать лет, по большей части в замке бывшего мужа Сире, проводила вместе с ним физические эксперименты (в них на расстоянии принимал участие и сам Фридрих Великий), писала книги о Ньютоне и Лейбнице, переводила с греческого Софокла и дарила счастье Вольтеру, который лишь однажды заметил: «Мне хотелось бы, чтобы она была не такая ученая, чтобы ее ум был не таким острым, а стремление к любовным утехам не столь безудержным».

Каково же было огорчение Вольтера, когда Эмили удрала с любовником, который был на десять лет моложе ее, перед тем написав книгу о том, что такое счастье. Однако Эмили дю Шатле недолго наслаждалась своим новым счастьем: через год она умерла во время родов дочери. Вольтер писал Фридриху: «Она была прекрасным человеком, единственный ее недостаток состоял в том, что она была женщиной».



Что и говорить, женщина, удирающая с возлюбленным, злодейка по отношению к оставленному мужчине. В истории немало примеров, когда в роли обманутых мужей выступали знаменитые личности: графиня Мари д'Ажу оставила мужа и семью ради Франца Листа (они прожили вместе почти десять лет, и она родила ему троих детей).

Мужа бросила и княгиня Каролина фон Сейн-Витгенштейн, чтобы связать свою судьбу с тем же Листом, который к тому времени оставил Мари д'Ажу. Потом своего мужа — капельмейстера при мюнхенском дворе — Ганса фон Бюлова бросила дочь Листа Козима, влюбившаяся в Рихарда Вагнера, за которого впоследствии и вышла замуж. История не забудет и Фриду Уикли, урожденную баронессу фон Рихтхофен, которая оставила мужа с тремя маленькими детьми и ушла к писателю Д. Лоренсу, для которого послужила прототипом героини романа «Любовник леди Чаттерлей».

Было бы неправильным считать, что виноваты всегда женщины.

В случае Диккенса все было наоборот: однажды автор «Оливера Твиста» и «Дэвида Копперфилда» совершенно неожиданно отказал от дома своей жене, с которой прожил много лет и которая родила ему десятерых детей. Как писатель Диккенс всегда был на стороне угнетенных, а вот в собственном доме был настоящим деспотом. Он требовал от домашних воинской дисциплины и чистоты. По утрам врывался в комнату дочери, чтобы проверить, насколько аккуратно заправлена кровать. Желену, и без того робкую женщину, требовательность и педантизм Диккенса сделали вовсе забитой и до смерти запуганной. На людях она выглядела как робкая овечка, с ней постоянно что-то случалось, а муж выходил из себя. Как-то во время торжественного обеда у нее упала в суп заколка, в поездках она непременно падала и что-нибудь себе ломала.

Когда Диккенс выгнал ее из дома, повелев жить в семье старшего сына, жена, привыкшая беспрекословно подчиняться, отправилась туда без всяких возражений.

А всемирно известный сорокасемилетний писатель пустился во все тяжкие с девятнадцатилетней актрисой. Эта

связь длилась двенадцать лет до самой смерти Диккенса. Впрочем, наиболее скандальным во всей этой истории был, пожалуй, тот факт, что свояченица Диккенса, несмотря на то что писатель выкинул из дома ее родную сестру, продолжала жить в его доме и вести хозяйство.

Композитор Йозеф Гайдн не рискнул выгнать жену из дома. Возможно, это и не удалось бы, но Гайдн много лет таил надежду, что жена наконец умрет и освободит ему дорогу к другой женщине, к которой он стремился всей душой. Сорокасемилетний Гайдн влюбился в двадцатилетнюю грациозную и черноглазую певицу Луиджию Польцелли, которая была замужем за пожилым скрипачом. Когда Гайдн познакомился с юной неаполитанкой, он уже двадцать лет состоял в браке с Мэри Энн. Она была на четыре года старше Гайдна, и, видимо, он никогда ее не любил. Дело в том, что Гайдн, собственно, был влюблен в сестру жены Джозефу, которая училась в музыкальной школе. Но Джозефа решила уйти в монастырь, и тогда Гайдн женился на Мэри Энн, которую во всех биографиях композитора называют злопамятной, ворчливой, необразованной и болезненно ревнивой. Признаемся, что не только она была виновна в неудачном браке. Гайдн, который уже пользовался широкой известностью, не пускал жену в свет и нередко искал утешения в обществе других женщин, что никак не улучшало характер Мэри Энн. Гайдну и его возлюбленной оставалось лишь надеяться на благосклонность судьбы, но их надеждам не суждено было сбыться.

Когда муж Луиджии после продолжительной болезни умер, Гайдну было уже шестьдесят лет. Он писал ей из Лондона: «Что касается твоего мужа, скажу тебе только, что провидение наконец позаботилось о том, чтобы избавить тебя от этой обузы. Для такого ничтожества, каким он был на этом свете, лучше, наверное, быть на том. Бедняга настрадался». Дальше он переходит к их собственной судьбе: «Быть может, придет время, когда закроются наконец обе пары глаз, о чем мы всегда так мечтали. Одна пара уже закрылась, но другая... Ладно, хватит о грустном, будем надеяться на Бога».

Но Бог не соблаговолил сделать так, как хотелось Гайдну. Правда, здоровье Мэри Энн не улучшилось, но на соответствующий вопрос Луиджии он отвечает: «Конечно, ей неможется, но это для нее — привычное состояние и она, пожалуй, еще переживет меня». Он утешает Луиджию: «Надеюсь увидеть тебя в будущем году. Я расскажу тебе все, что со мной приключилось с той поры, как мы расстались. Я очень надеюсь, что остаюсь для тебя по-прежнему желанным. Я тебя люблю и будут верен тебе всю жизнь».

Но любил ли он Луиджию на самом деле? И любила ли она его так, как некогда? Для бывшей певицы Гайдн был единственным источником существования, ведь он посылал ей деньги, а также одному из ее сыновей, о котором без всяких оснований поговаривали, что он был сыном композитора. Похоже, это были не такие уж большие суммы, во всяком случае, она надеялась на большие, потому что в одном из писем он извинялся: «Я хотел бы присылать тебе больше. Но мои доходы не так велики, так что прости человека, который и так делает больше, чем может. Вспомни, что я тебе дарил и посылал, а ведь не прошло еще и года, подумай, во что обошелся мне твой сын и сколько денег еще придется на него потратить, прежде чем он сам сможет зарабатывать на жизнь. Подумай и о том, что я не всегда буду в состоянии работать так, как в предшествовавшие годы. Я старею, и моя память слабеет. Прими во внимание, что по этой и по многим другим причинам я не могу зарабатывать, как раньше, и у меня нет другого дохода, кроме пенсии, назначенной князем Николаем Эстергази (этой доброй душой), которой едва хватает на весьма скромное существование».

В этом же письме он пишет о своей жене: «Это дьявол, а не женщина. Она всегда чем-то болеет, и у нее вечно дурное настроение, но я больше не обращаю на нее внимания, когда-нибудь и этой напасти придет конец».

Но прежде умер сын Луиджии, для которого Гайдн так много сделал, и композитор, похоже, потерял интерес к Луиджии, и, когда жена наконец умерла, шестидесятивосьмилетний Гайдн не женился на певице. Она настаивала, Гайдн отвечал:

«Я, нижеподписавшийся, обещаю госпоже Луиджии Польцелли, если когда-нибудь надумаю вступить в новый брак, не брать в жены никого, кроме упомянутой Л. Польцелли, а если останусь вдовцом, обещаю выплачивать означенной Польцелли пенсию в триста гульденов ежегодно...»

Гайдн так и не женился; чем старше он становился, тем больше старался держаться от женщин подальше, да и в деньгах стал расчетливее. Об этом свидетельствуют, в частности, разные варианты его завещания. В каждой новой версии доля Польцелли снижается. Если некогда он выразил свою последнюю волю даже на ее родном языке, то потом это завещание полностью аннулировал, мотивируя это так: «Если я много дам этой женщине, то мои бедные родственники получают слишком мало». Когда великий композитор в возрасте семидесяти семи лет навсегда закрыл глаза, в его завещании Луиджия Польцелли не упоминалась вовсе.

Мы никогда не узнаем, что его побудило к этому. В одном из его писем к Польцелли читаем: «Собственно, я должен был отругать тебя, потому что очень многие сообщают, как дурно ты отзывалась обо мне в Вене». Правда, он тут же добавляет: «Ну да ладно, Бог тебе судья, я прощаю тебя, потому что знаю, что любовь ко мне порой ослепляет тебя и ты можешь наговорить бог знает что. — И заканчивает: — И все же умоляю: тебе следует заботиться о своем добром имени». По всей вероятности, Польцелли не слишком-то прислушивалась к его советам, если шестидесятивосьмилетний Гайдн, став вдовцом, так и не надумал взять в жены Луиджию, которой был всего сорок один год.

Впрочем, что там Гайдн! «Хлопот с женщинами не оберешься», — так мог бы сказать и старик, и юнец, и композитор, и политик. Сохранились истории о бедах, выпавших на долю Тиберия, приемного сына и наследника трона римского императора Августа. Его жена Юлия, любимая дочка Августа, так часто наставляла рога своим первым двум мужьям, а потом и Тиберию, что вскоре в Риме поползли слухи, что с Юлией может переспать кто угодно. Августу не оставалось ничего другого, как дать Тиберию согласие на

развод и сослать Юлию подальше от Рима. Римлян пора- жало, однако, насколько дети Юлии, несмотря на все ее любовные аферы, походили на ее законных мужей, на что красotka давала объяснение, которое историки предпочитают приводить только по-латыни: *Numquam enim nisi pavi plena tollo vectorem*. (Рискнем привести перевод одного из зна- токов древних языков: «Потому что я беру на борт пасса- жиров, когда фрахт уже загружен».)

Долгое время ходили слухи о сомнительности сексуа- льных пристрастий Тиберия, и лишь по прошествии почти двух тысяч лет историки сняли с него это подозрение. А причина проста: Тиберий, которого в анналах истории по- спешили окрестить гомосексуалистом, никогда не интересо- вался другими женщинами, кроме собственной жены.

В этом отношении Цезарь был совсем иным челове- ком. Он был неоднократно женат, имел многочисленные любовные связи с женами своих друзей, а то и врагов. Несколько раз женат был и Карл Великий, хотя Святой Георгий и восклицал: «Первый брак — законен, второй — простителен, третий — уже прелюбодеяние, а если кто пре- высит и это число, тот — истинный зверь». Карла явно «зашкаливало», он был женат пять раз и имел еще четырех «официальных» любовниц.

Но Карл был могущественным императором и с легко- стью пренебрегал мнением служителей церкви. Худая сла- ва настигла его после смерти. Католики нередко поминали императора дурным словом, а одному монаху было даже видение, в котором самодержец явился ему в аду прикован- ным к скале. Император терпел несказанные муки, не в силах отогнать зверя, который отгрызал ему «причину всех пороков».

От себя рискнем поставить вопрос, в каком веке монах увидел этот сон? Ведь случись это, скажем, в XV или XVII веке, то рядом с Карлом Великим благочестивый служи- тель церкви смог бы узреть и английского короля Генриха VIII, и русского царя Ивана Грозного.

# ЛЮБОВЬ К СКАЧКАМ И ЦИРКУ

«Амфитеатр заливает человеческое море, люди вопят и кричат как безумные. Чем ристалище ближе к концу, тем больше нарастает напряжение, страх, ярость, восторг. Люди стучат кулаками, орут что было мочи, вскакивают со своих мест, перегибаются через ряды, машут платками и одеждой, поддерживают свою команду одобрительными возгласами, угрожают, бранятся, ликут и восторженно вопят. И наконец раздается мощный рев победителей, перекрывающий проклятья и стоны проигравших. Этот рев, казалось, вырывается из стен цирка, выплескивается за ограду Вечного города и бьет по барабанным перепонкам путешественника, который давно уже покинул Рим...»

Да, да, мы говорим о Древнем Риме, и это не матч чемпионата Италии по футболу, а гонка на колесницах в императорской столице, описанная раннехристианским автором, который, как он сам утверждает, хотел обрисовать самое главное зрелище — римскую публику, сто восемьдесят — сто девяносто тысяч человек, которые каждый день заполняли римский цирк. Если судить по поведению, крикам и неистовству болельщиков, то римская публика за две тысячи лет почти не изменилась.

Любопытно заметить, что не только страстность и ликование фанатов Древнего Рима напоминают нам сегодняшние дни, но и поведение римских политиков, которые выдают себя за любителей развлечений, за болельщиков не в мень-

шей степени. Не претерпела изменений и жадность игроков, и их любовь к славе. В Риме так же преклонялись перед спортивными звездами, как и сегодня, только звездами были не футболисты, а возникшие или гладиаторы, им выплачивали большие денежные суммы, делали подарки, ставили памятники, женщины и политики искали их благосклонности.

Чужеземцы, посещавшие Рим в I—II веке, поражались огромному числу статуй, установленных на площадях, и вовсе не богов, героев или государственных деятелей, а возникших, о подвигах которых должны были помнить потомки. Надпись на монументе «героя колесницы» Апулея Диоклеса, который воздвигли его почитатели, повествует о том, что Диоклес начал управлять четверкой лошадей, когда ему минуло восемнадцать лет, а в сорок два оставил гонки, что за это время он участвовал в ристалищах 4257 раз и 1462 раза одерживал победы, которые принесли ему 35 863 120 сестерций. (Если это перевести на нынешние деньги, получится, что Диоклес зарабатывал не меньше нашего теннисного идола Бориса Беккера.)

Еще одной звездой арены был возникший Флавий Скорпус. Он умер совсем молодым в возрасте двадцати семи лет, но успел одержать 2048 побед. Поэт Марциал воспел его как «славу шумящего цирка, благословение Рима и предмет его поклонения», Марциал взывал к богиням победы, удачи, славы и чести разделить его скорбь. Завистливая Парка, пересчитав лавровые венки Флавия, была уверена, что перед ней старик, не в силах представить себе, что столько наград мог завоевать молодой человек.

Двухколесными колесницами управляли стоя. В них запрягали двух, трех, четырех, иногда даже шестерых и семерых лошадей. Колесница должна была семь раз промчаться по восьмисотметровому овальному периметру цирка Максимус. Победители получали пальмовые ветви, лавровые венки, ценные подарки и денежные призы. Но главное вознаграждение складывалось из пожертвований партий, которые выступали в роли болельщиков и спонсоров.

Всего было четыре партии, у каждой был свой цвет: красный, голубой, белый и зеленый. Каждая партия стара-

лась заполучить лучшего возничего, и тот, кто выплачивал самые большие суммы или обещал участие в выигранных призах или даже включался в президиум партии, мог привлечь самых удачливых возничих. Нередко были случаи, когда возничего, уже обещавшего выступить от одной партии, перекупала другая. Сатирик Ювенал сравнил как-то заработок звезды цирка, выступавшей от красных, с гонораром сотни адвокатов, а адвокаты, заметим в скобках, зарабатывали в Риме немало.

Если актеры и фехтовальщики считались людьми без роду без племени, вообще второсортными членами общества, то к возничим колесниц это никак не относилось. Многие римляне, и патриции в том числе, старались постичь это сложное искусство, разве только на императора смотрели косо, если он садился в колесницу, поэтому не приходится удивляться, что жителей Рима, не исключая и самых высших кругов, интересовало все, что было связано с лошадьми, гонками и, конечно, героями ипподромов. Возничий Евтиох от зеленой партии был любимцем императора Калигулы, и однажды тот одарил его двумя миллионами динариев (что-то около четырехсот тысяч долларов). Страстными болельщиками были императоры Люций Вер, Коммод, Каракалла, Гета и Элагабал, все они всячески поощряли возничих своей партии.

Красная и белая партии превратились постепенно в оппозиционные, но значение их с годами падало, в то время как зеленые, поддерживаемые императором, и голубые, за которыми стоял сенат и римские аристократы, становились все более могущественными и влиятельными. У императора Элагабала были свои любимцы среди возничих. Одного из них, Кордиуса, он сделал, например, префектом городской стражи, а мать своего главного фаворита Иерокла, которая была рабыней, выкупил и одарил высоким званием. Император Нерон, страстный болельщик зеленых, после большого римского пожара заново отстроил и значительно расширил цирк. Он сам считался незаурядным возничим и появлялся в цирке в зеленой тоге. Однажды он устроил цирковые игры в честь царя Митридада, и по этому случаю арену выкрасили в зеленый цвет. А об императоре Кали-



гуле рассказывают, что, добываясь победы своих, он велел отравить возничих и лошадей противной партии.

Даже если это и навет, равно как и легенда о том, что Калигула хотел сделать сенатором своего любимого жеребца, который выиграл не один заезд, подобные истории передают нам атмосферу, которая царила на ристалищах. Не в последнюю очередь популярность возничих, которым ставили бюсты и с которых писали портреты, а также лошадей объясняется бесчисленными пари, которые заключались в цирке. Римляне выигрывали и теряли в тотализаторе гигантские суммы.

Если правитель не интересовался цирковыми развлечениями, как, например, преемник Августа Тиберий, он много терял в глазах публики. Цезарь, повелевший расширить цирк Максимум, присутствовал на соревнованиях, но, сидя в своей ложе, обычно писал или даже что-либо диктовал, и плебс не мог ему этого простить. Римляне требовали от своих правителей не только устройства ристалищ, но и активного участия в них. Весьма опасно было высказывать и выказывать нелюбовь к площадным зрелищам. Это касалось не только правителей, но и поэтов, которым оставалось только присоединиться к мнению толпы.

«Это так естественно, что молодежь любит цирк, — писал Ювенал, — громкие возгласы, смелые пари, присутствие хорошо одетых девушек — все это воодушевляет молодость и к лицу ей». Поэт «страсти нежной» Овидий советовал своим юным читателям почаще посещать цирк, хотя бы потому, что в накале страстей, которые выплескиваются на трибунах, можно уловить пикантные и многообещающие моменты.

Бои гладиаторов не уступали гонкам колесниц. Вначале они проводились не в цирке, а на форуме, а позднее в Колизее, на строительство которого, если пересчитать на нынешние деньги, ушло примерно пятнадцать миллионов долларов. Колизей был окончательно отстроен в 80 году н. э., в нем было сорок пять тысяч сидячих и пять тысяч стоячих мест. Площадь арены составляла 3600 квадратных метров, для защиты зрителей арена была отделена от трибун же-

лезной решеткой, ведь на ней нередко устраивали охоту на зверей, которая часто оборачивалась охотой зверей на людей. Нередко диких зверей натравливали друг на друга. Но больше всего римляне любили бои гладиаторов.

Бой одного человека против другого. Цицерон однажды сказал, что такая схватка — истинное выражение презрения к смерти. Для толпы бои гладиаторов, как и гонки колесниц, прежде всего были поводом для заключения пари. Однако тут было одно отличие. Гладиаторы, для каждого из которых выход на арену означал жизнь или смерть, не пользовались таким безмерным почитанием, как герои ипподрома. Гладиаторов вначале набирали из рабов, пленных и преступников, лишь постепенно эту «профессию» начали осваивать добровольцы.

Самым известным из гладиаторов, без сомнения, был Спартак — знаменитый не столько своими победами на арене, сколько поднятым им восстанием рабов в I веке до н. э., которое потрясло Римскую империю. Имя Спартака до наших дней ассоциируется с символом свободы (а у некоторых вызывает страх). Спартак был родом из Фракии. Здесь римляне рекрутировали юношей во вспомогательные войска. Участвуя в войне с Митридатом, Спартак перебежал на сторону противника, потом попал в плен к римлянам, его доставили в цепях в Италию и продали в рабство в школу гладиаторов в Капуе, поскольку он был сильным и искусным воином. В 75 году до н. э. он вместе с другими гладиаторами сумел вырваться из казарм. Ему вовсе не хотелось сражаться за право остаться в живых на потеху жадной до зрелищ публики. Говорят, что Спартак однажды сказал: «Жизнь можно отдать ради свободы, но не ради разлечений».

Во всяком случае, он вырвался из школы ради того, чтобы обрести свободу. О свободе мечтали и сотни других рабов, которые сбежали к Спартаку со всех уголков страны. Они видели в своем вожде освободителя, готовы были идти за Спартаком в огонь и воду и вместе с ним отстаивать обретенную независимость. Первую победу над римскими солдатами, посланными Сенатом, рабы одержали у подно-

жия Везувия, а в 72 году до н. э. Спартак во главе армии из сорока тысяч человек наголову разгромил в Аппенинах шесть римских легионов.

По-видимому, Спартака можно без преувеличения назвать гением военного искусства. Ведь ему не только удалось за короткий срок снабдить оружием многочисленных рабов (за короткое время число их выросло до ста тысяч), частью захваченным, а частью произведенным самими рабами в оружейных мастерских, но и, что представляло еще большую трудность, обучить рабов воинскому искусству, привить им дисциплину, чтобы они не превратились в мародеров. Правда, большинство рабов требовало от Спартака богатой добычи, и он прошел со своим войском почти через всю Италию, хотя так и не решился пойти походом на Рим. В то же время за два года почти никто не рискнул дать бой армии Спартака. Спартаком пугали детей, но он пользовался уважением даже своих врагов. Плутарх говорил о нем как о «великодушном, дружелюбном и умном человеке».

В 71 году до н. э. претору Крассу, которому Сенат поручил покончить с восставшими рабами, удалось навязать Спартаку в Южной Италии позиционную войну. Красс выставил восемь легионов, но полностью ему удалось окружить рабов лишь после того, как ему на помощь пришли отряды из Испании и Македонии. Пытаясь прорвать окружение, Спартак погиб. Его гибель означала и поражение восстания. Торжествуя победу, Красс велел распять побежденных на крестах вдоль Виа Аппиа.

Надо сказать, что восстание Спартака все-таки привело к положительным результатам: оно обратило внимание римлян на унижительную и безысходную жизнь рабов. После него к рабам стали относиться мягче. Улучшилось и положение гладиаторов, у многих открылись глаза на их ужасную судьбу. Спартак однажды заставил сражаться друг с другом не на жизнь, а на смерть триста взятых в плен римских легионеров, и многие поняли, что это — настоящая бойня. Правда, бои гладиаторов по-прежнему не утратили своей жестокости, их устраивали еще пятьсот лет после восстания Спартака, но уже не в Риме.

Сами императоры держали по несколько гладиаторских школ, где готовили бойцов-убийц. Если отвлечься от того, что они были несвободными людьми, жилось им неплохо. Школы располагались в самых живописных уголках Аппенинского полуострова, где климат был особенно приятным. Питание было прекрасным, обычно гладиаторов кормили по специальной диете. Ежедневно проводили массаж и тренировки. Так что к выходу на арену их готовили очень основательно, а там уже публика решала, даровать ли жизнь побежденному, который мог отказаться от продолжения поединка только в случае тяжелого ранения.

Прежде у победителя было право решать добивать ли побежденного, потом это право перешло к императору, но тот всегда ориентировался на настроение публики. Если гладиатор защищался храбро, толпа орала: «Mittel!» («Пощады!»), и император поднимал палец вверх, что означало, что бойцу даруется жизнь. Если же, по мнению зрителей, он вел себя трусливо, они вопили: «Lugula!» («Убей его!»), и император, показывая пальцем вниз, утверждал решение цирка. Политически было бы огромной ошибкой принять решение вопреки мнению толпы. Одним из немногих, кто на это отважился, был Калигула, который однажды, увидев, что бой ведется слишком жестоко, прервал поединок, вызвав негодование трибун.

Полагают, что гладиаторские бои пришли из Этрурии; в Риме о них в первый раз сообщается в 264 году до н. э. Вначале бои устраивали при погребении какого-нибудь знатного лица, а примерно с I века до н. э. они стали частью народных увеселений, организуемых римскими властями. Наконец, в начале V века н. э. император Гонорий запретил бои гладиаторов. Слово «гладиатор» происходит от «гладиус» — меч, поначалу это было единственное оружие бойца, лишь впоследствии возникли всевозможные разновидности поединков и соответственно разные виды оружия.

Проводились, например, бои, в которых один из гладиаторов выходил с сетью, а чтобы доконать пойманного, применял трезубец. Другие гладиаторы сражались с мечом и

щитом, наконец, проводились бои, когда гладиаторы кружили по арене на маленьких колесницах и с них пытались поразить друг друга. Популярными были поединки двух отрядов, дрались поодиночке, поверженного немедленно замечал кто-то из его команды.

В любом случае гладиаторы сражались с максимальным напряжением сил, прилагая все свое искусство. Если они этого не делали, на арену выходили надсмотрщики с палками, которыми понуждали гладиатора продолжать бой, в противном случае они забивали его до смерти.

Несмотря на предельную жестокость, а может быть, и благодаря ей, бои гладиаторов были чрезвычайно популярны. Плиний Младший полагал, например, что они чрезвычайно способствуют развитию мужественности и презрения к опасности и показывают, что стремлению к славе и победе не чужды ни рабы, ни преступники. Неудивительно, что ремесло гладиатора становилось постепенно все более почетным и под конец ему стали обучаться и свободные римляне.

Как и возничий колесниц, гладиатор мог получить свободу, славу и богатство. Победителей награждали богатыми подарками, устроители боев присылали им чаши, наполненные золотыми монетами, количество которых определялось по выкрикам зрителей или поднятым пальцам левой руки. Сильнейшие могли требовать немалой награды. Тиберий, например, платил опытным гладиаторам, оставившим арену, если они вновь принимали участие в поединках, до ста тысяч сестерциев! Нерон подарил гладиатору Спикуллу дворец.

Так что и среди гладиаторов были свои «звезды-миллионеры», которые пользовались особой любовью женщин. О гладиаторе — фракийце Целадии, говорили, что он — предмет обожания и преклонения юных девушек и матрон, про другого, что он повелевает женскими сердцами, как возничий — лошадьми. Сильные и мужественные гладиаторы были неотразимы и для женщин высшего круга. Поговаривали, что даже жена императора Марка Аврелия Фаустина поддалась чарам гладиатора и что ее сын Коммод

был плодом тайной страсти, а не брака с умным философом Марком Аврелием.

Скорее всего это было всего лишь слухом, хотя сам Коммод давал для этого немало оснований. Он был императором с 180 по 192 год, но любимым развлечением его было выходить на арену в роли гладиатора, он мечтал прослыть самым сильным человеком в Риме. Историки подсчитали, что он выступал на арене тысячу раз, из них 355 раз еще до того, как стать императором. Коммод сражался за деньги, за каждое выступление он заставлял гладиаторскую кассу выплачивать ему миллион сестерциев. Особенно Коммод гордился своими схватками с дикими животными. Греческий историк Кассий Дио был свидетелем того, как Коммод в течение одного дня уложил пять бегемотов, а на следующий день убил двух слонов, жирафа и несколько носорогов.

Что это было? Деграция высокого искусства? Закат великого государства?

Во всяком случае, в античном Риме гладиаторские бои были частью повседневной жизни, даже элементом политики. Две тысячи лет назад мужчины часами могли до хрипоты спорить о вчерашнем бое, как сегодня спорят о футбольных баталиях, а мальчишки на улицах играли в возничих и гладиаторов. В античной литературе не найдется ни одного слова, осуждающего эти жестокие и омерзительные, на наш взгляд, развлечения. Если гладиаторские бои критиковались, то только с эстетической стороны. Единственное исключение составлял Сенека, который утверждал, что бой гладиаторов — замаскированное убийство, поскольку конец схватки венчает смерть.

Прочие состязания в цирке, и, в частности, гонки колесниц, и вовсе не подвергались сомнениям. Даже христиане толпой валили в цирк невзирая на увещевания епископов. Ведь в самом Священном Писании говорится, что Илья поднялся в небо на колеснице. И в таком случае, что греховного может быть в ипподроме?

## ВЕРА В ПРЕДСКАЗАНИЯ, В ВЕДЬМ, В АСТРОЛОГОВ

«*Железный*» канцлер Бисмарк на самом деле был не таким уж «железным», а, наоборот, очень нервным и крайне впечатлительным человеком. Когда его любимые рябчики (*Fritillaria*), которые в народе называют «царской короной», в мае 1887 года никак не хотели распускаться, канцлер сильно переживал это обстоятельство. Баронесса Шпитцемберг записала в своем дневнике слова его жены: «Мой муж каждый день ходит в сад в надежде, что появится хотя бы один бутон». Она призналась, что они с мужем видят в этом зловещее предзнаменование. Баронесса снабдила эту запись с примечанием: «Разве не удивительно, что такой человек, как Бисмарк, верит в такие пустяки?»

А Бисмарк, действительно, был ужасно суеверен. И все же было бы неверно полагать, что в том, что лилии, которые, наверное, просто недостаточно подкормили, не распускаются, есть какое-то дурное предзнаменование. Отсутствие цветов на «царских коронах» просто напомнило Бисмарку о том, что было и без того очевидно и в самом деле не предвещало ничего хорошего: из-за напряженных отношений России и Австрии договор, заключенный в 1872 году между королем Пруссии Вильгельмом, австрийским императором Францем Иосифом и русским царем Александром, не будет продлен. Поэтому Бисмарк в июне того же года подстраховался еще одним соглашением с русскими. Может быть, он думал и о том, что

император Вильгельм уже очень стар, а кронцпринц Фридрих — болезненный юноша. И впрямь на следующий год оба скончались.

Конечно же для суеверных людей подобные приметы несут в себе зловещий смысл. Смерть Вильгельма I и его старшего сына, думается им, самым очевидным образом доказывает, что отсутствие цветов у королевских лилий вернейшая примета мрачного будущего. И тут же выводится формула: «Если королевские короны канцлера не цветут, то на следующий год жди смерти императора, а возможно, и его сына». Тысячи предсказаний основываются на подобных ложных умозаключениях.

Нам теперь трудно понять, почему в Месопотамии, колыбели всех предсказаний, будущее читали по печени, причем по печени, специально для этой цели извлеченной у забитых овец. Можно вспомнить, правда, что в древней Вавилонии и древней Шумерии печень считалась главным органом, средоточием жизни, и все же совершенно непостижимо, как «бару» (так звали предсказателей) по форме, складкам и кровоснабжению печени угадывал, будет ли война и чем она завершится. Однако гепатоскопия — гадание по печени — приносила, похоже, древним вполне удовлетворительные результаты. Три тысячи лет люди узнавали свою судьбу по печени, а предсказатели по печени ценились очень высоко.

Надо сказать, что они не каждому раскрывали свои знания. Гепатоскопия была доступна только правящим особам и военачальникам, которые вершили большую политику. Всем прочим приходилось довольствоваться туманными намеками и общими местами. В сборнике предсказаний, найденном в древнем Вавилоне, мы находим, например, такое: «Если вы найдете в постели мужа свернувшуюся в клубок змею, это значит, что жена закатит глаза, а потом продаст детей». Или же: «Если муравьи появятся в вашем доме — жди беды».

Греческие оракулы особенно славились многозначительностью, расплывчатостью и загадочностью своих предсказаний, хотя и не всегда их пророчества были такими примитивными, как скажем, в случае с Крезом, последним царем Лидии. Когда



он спросил у дельфийского оракула, поднеся ему богатые дары, чем кончится война, с которой он решил пойти на персов, оракул ответил, что, если Крез перейдет реку между Грецией и Персией, будет разрушено большое царство. Слишком поздно Крез понял, что речь идет о его собственном царстве.

По большей части предсказания премудрых дам из Дельфов Додоны или Олимпии были гораздо сложнее и туманнее и требовали специального толкования, как правило, священнослужителей, которые для этого были специально обучены.

И пифии, и толкователи их предсказаний прекрасно разбирались в политических хитросплетениях, особенно в Дельфах, городе, который представлял собой нечто вроде «консультационного бюро». В течение веков Дельфы по неведомым никому каналам проникали в будущее. Предсказательницы и толкователи всячески оберегали свою репутацию и продавали свои прогнозы по очень дорогой цене. Помимо четко обозначенных тарифов, они не гнушались подарками и спонсорскими подношениями, что побуждало наивных людей подкупом влиять на предсказание и, возможно, определение своей судьбы.

Репутация греческих оракулов оказалась изрядно подмоченной в IV веке до н. э., когда поэт Еврипид подверг их уничтожающей критике. Все последующие попытки возродить славу Дельфов (на какое-то время верховным дельфийским жрецом был даже назначен философ и историк Плутарх) ни к чему не привели. Может быть, дело было в том, что появились новые методы предсказаний, которые оставили далеко позади жалкие потуги прочесть судьбу человека по печени и кишкам.

Речь идет об астрологии. Убеждение, что судьбу человека можно определить по звездам, пришло из Вавилонии и распространилось по всему миру. Астрология быстро завоевала Персию, Индию, Китай, Элладу, Египет, а затем Рим и всю Европу. Только евреи, всегда с подозрением относившиеся к астрологии, запретили ее у себя. Они больше доверяли собственным предсказателям, веря, что те непосредственно общаются с Богом.

Вначале астрологи занимались конкретными предсказаниями надвигающихся событий, в частности затмений солнца и луны. Затем они пришли к заключению, что расположение звезд свидетельствует о воле богов, и на этом основании стали определять судьбы отдельных людей. Аристотель, в течение многих веков бывший для Европы непререкаемым авторитетом, внес немалый вклад в развитие астрологии. Он писал: «Наш здешний мир очевидным образом связан с миром над нами. Все перемещения в небесных сферах влекут за собой изменения в нашем мире».

Конечно, немало великих людей считали астрологию шарлатанством, среди древних решительными противниками астрологии были Цицерон, Тацит, Плиний Старший, Плутарх, Сенека, в Европе — Лютер, Кальвин, философ Артур Шопенгауэр, для которого вера в звезды была «великолепным доказательством жалкой субъективности человека, который низводит движение гигантских светил до своей собственной ничтожной судьбы, полет сверкающих комет связывает с убогими деяниями и мельтешением людишек». Но таких было немного.

Множество политиков всех времен и народов, и среди них такой расчетливый и трезвый, как Цезарь, большинство пап, верили, что судьбу определяет расположение звезд.

В 1974 году известный западногерманский журнал «Шпигель» распространил анкету с вопросами по астрологии. Выяснилось, что в ФРГ 45% граждан в возрасте от 14 до 65 лет видят определенную связь между положением звезд и человеческой судьбой или, по крайней мере, считают ее возможной. Выяснилось также, что очень много политиков, промышленников, торговцев, менеджеров определяют с помощью астрологии свой «звездный час», а семь процентов населения вообще живут, руководствуясь специально заказанным гороскопом.

Настоящей цитаделью астрологии была Александрия, особенно во II в. н. э., когда здесь жил математик, географ и астроном Клавдий Птолемей. Птолемей сумел обобщить все наблюдения и открытия предшествовавших звездочетов и создать свою геоцентрическую систему мира, в кото-

рой Земля помещалась в центр мироздания и управляла движением планет. Система Птолемея была альфой и омегой звездного мировоззрения средневековья, пока Коперник, Галилей и Кеплер не развенчали ее и не заменили гелиоцентрической системой, в центре которой находится Солнце. Это положение современной астрономии астрология не принимает, для нее по-прежнему все планеты вращаются вокруг Земли. Знаменитый «тетрабиблос» — «четырёхкнижие» Птолемея, в котором он пытается дать научное обоснование астрологии, по-прежнему остается библией астрологов, не желающих слышать ни о каких открытиях физики и астрономии.

Католическая церковь долгое время придерживалась Птолемеяевых теорий и таким образом невольно способствовала распространению астрологических суеверий. Собственно, в течение всего средневековья и вплоть до нового времени астрология и астрономия были единой наукой. Знаменитый астроном Иоганн Кеплер, первый рассчитавший планетарные орбиты, вынужден был, как и его учитель и предшественник Тихо Браге, составлять гороскопы для своего повелителя, который держал императорский двор в Праге. А ведь это уже начало XVII века.

Именно Кеплера призывают астрологи в главные свидетели, когда заходит речь о том, насколько можно верить прорицаниям, основанным на движении звезд. Кеплер составил свой знаменитый гороскоп для безоговорочно верившего в звезды Валленштейна. История сохранила легенду, что все предсказания Кеплера удивительным образом сбывались. К моменту составления гороскопа двадцатипятилетний барон Альбрехт фон Валленштейн был никому не известным придворным при венском дворе эрцгерцога Матиаса, брата императора Рудольфа II. Кеплер лично его не знал, но ему было до секунды известно время рождения Валленштейна: 14 сентября 1583 года, четыре часа пополудни, а точнее: 16 часов 01 минута 30 секунд. И на этой основе он составил гороскоп, в котором говорилось следующее:

«Со всей очевидностью я могу сказать об этом господине, что у него беспокойный, взрывной, мятущийся характер;

он постоянно стремится ко всему новому; ему нравится быть с людьми, он не любит обыденной жизни и торговли, он нацелен на все неведомое, мыслью он может постичь необычное и примечательное. Восходящий Сатурн будит пытлиую, меланхолическую, пристальную мысль, приобщает ко всему духовному, позволяет пренебречь привычными традициями и обычаями, даже религиозными заветами; делает все неустойчивым и подозрительным. Человек, осененный Сатурном, не принимает расхожих мнений, он видит обман там, где ординарный обыватель видит истину. Когда Сатурн попадает в эклиптику Луны, такой человек начинает презирать всех, с кем прежде имел дело. Он становится жестоким и безжалостным, не знающим братской или сыновьей любви, чтящим только самого себя и предающимся своим страстям, беспощадным к подчиненным, жадным, вспыльчивым, нередко молчаливым, непредсказуемым, склонным к ссорам и распрям...»

Начало характеристики Валленштейна выглядит весьма нелицеприятно, однако завершив первую часть «за упокой», Кеплер на следующих страницах продолжает «во здравие»: «Но самое благоприятное в дне рождения этого человека, что за Сатурном следует Юпитер, и это рождает надежду, что с возрастом большая часть недостатков уйдет и этот недюжинный человек приступит к важным начинаниям. Ведь он стремится к почету, славе и могуществу, он начинает расти и преодолевать свои слабости, он многих побеждает, а неизбежных врагов этот человек со славой одолеет». Дальше в гороскопе говорилось: «Нет сомнения, что Валленштейн поднимется на вершину славы, богатства, государственных почестей, его ждет богатая женитьба». Завершается гороскоп снова на грустной ноте: «Поскольку в прямой оппозиции к Юпитеру стоит Меркурий, многим будет казаться, что Валленштейн знает с темными силами и что люди принимают его сторону по наущению дьявола».

На первый взгляд действительно создается впечатление, что в жизни Валленштейна все произошло так, как предначертал Кеплер, — например, женитьба на богатой наследнице или мятеж против императора. Но было бы абсолютно

неправильным усматривать в жизни полководца «мистическое воплощение» прозрений астролога, как пытается представить дело его биограф Хельмут Дивальд. Дивальд утверждает, что Валленштейн рабски следовал своему гороскопу в надежде, что все исполнится так, как там написано. Думается, что это — изрядное преувеличение. Ведь при критическом прочтении гороскопа, а мы намеренно привели его подробно, обнаруживается, что все пророчества там весьма туманны. Энергичный, стремящийся вперед, ищущий нового, не принимающий на веру традиционные постулаты и наряду с этим — задумчивый, замкнутый, эгоистичный, беспощадный, стремящийся к славе и власти, склонный к суевериям — да кто из молодых людей двадцати пяти лет не подойдет под эту характеристику! Что касается женитьбы на богатой невесте и мятежной натуры, то в этом тоже нет ничего необычного, когда речь идет о молодом аристократе.

Говорят, Валленштейн многократно упоминал об огромном впечатлении, которое произвел на него гороскоп Кеплера: Отметим, однако, что многие предсказания так и не сбылись, недаром он просит астронома в 1642 году составить новый гороскоп, и по возможности детально уточнить, в каком году его ждут счастливые, а в каком — несчастные события, кто его тайные враги и какой смертью он умрет. Что касается второго гороскопа, заказанного Валленштейном в возрасте сорока одного года, то с ним связано одно обстоятельство, о котором астрологи умалчивают. Дело в том, что Кеплер решительно отказался вдаваться в детали и возмущенно вопрошал Валленштейна, не принимает ли тот его за фокусника? Он, Кеплер, со всей определенностью отвергает безумное желание Валленштейна знать по звездам все детали своей жизни. А на вопрос о смерти Кеплер ответил просто: «Тот, кто задается подобным вопросом, видимо, безграмотный, Бог не просветил его. Ведь если в человеке есть хоть капля разума, он поймет, хорошенько поразмыслив, что задавать подобный вопрос — значит гневить Господа».

В своем втором гороскопе Валленштейну Кеплер настойчиво подчеркивает, что ход событий определяют не только

звезды, «рожденный под этими звездами человек и другие люди, с которыми он сталкивается, делают многое по собственной воле, а не потому, что их понуждает к этому Небо, и какие-то поступки они могли бы и не совершать. Случайные события иногда препятствуют, а иногда способствуют осуществлению того, что было однажды начертано на Небесах». Другими словами, Кеплер считал, что в конечном счете человек сам творец своей судьбы.

Этим выводом Кеплер не отрицал астрологии, он следовал за итальянским физиком Джанбаттиста делле Порта с его знаменитым выражением «Звезды не понуждают, они способствуют», к которому астрологи охотно прибегают и по сей день, когда их предсказания не сбываются.

Для Кеплера, однако, этот постулат вовсе не был запасной калиткой, чтобы избежать ответственности. Кеплер категорически не принимал астрологического фатализма. К астрологам, которые уверяют, что могут предсказать судьбу вплоть до малейших деталей, обращаются те, «кто хочет быть обманутым». Серьезный ученый и философ, каким считал себя Кеплер, слишком хорошо видел опасность, к которой может привести легкомысленное отношение к астрологии. Он отчетливо понимал, что от веры в детально предначертанный ход жизни один шаг до веры в ведьм, дьяволов и прочую чертовщину, которую с упорством насаждала церковь и от которой погибли сотни людей. К таким жертвам, кстати сказать, относился и сам Кеплер, мать которого заподозрили в том, что она — колдунья.

Ее обвинили в колдовстве в 1615 году в городке Леонберг в Вюртемберге, где Кеплер посещал латинскую школу. Охотники за ведьмами в Леонберге в тот год отправили на костер шесть женщин и прилагали все усилия к тому, чтобы привязать к пылающему шесту и Катарину Кеплер. Когда сын услышал об обвинениях, он написал в городской совет Леонберга, что преследователей его матери явно «обуял дьявол» и что он, придворный математик Его королевского величества, требует копий всех актов по делу своей матери. Из этих актов он узнал, в чем, собственно, заключалось обвинение.

Соседка Катарины Кеплер, жена стекольщика, страдала болями в низу живота, и, поскольку никакие лекарства не помогали, она решила, что причиной тому колдовство. Она утверждала, что незадолго до того, как заболеть, выпила у старухи Кеплер стакан вина и теперь делала вывод, что то был колдовской напиток, а мать Кеплера, соответственно, ведьма.

Подобного обвинения было вполне достаточно, чтобы делу дать ход. Согласно приказу правительства герцогства Вюртембергского местным властям вменялась обязанность искоренять ведьм и колдуний. Если какая-либо женщина оказывалась под подозрением, у нее почти не было шансов избежать смерти на костре. Катарина тщетно объясняла болезнь соседки ее легким поведением. Не помогла и жалоба на лжесвидетельство. Даже письмо сына в магистрат лишь на время умерило прыть охотников за ведьмами, которым не преминули воспользоваться обвинители для сбора новых доказательств.

Кеплер забрал мать к себе в Линц, но старая женщина чувствовала себя на новом месте неуютно и тосковала по своему дому, где жила с дочерью и зятем-священником, и через несколько месяцев вернулась к ним. Заступничество сына, однако, не возымело ни малейшего действия. Летом 1620 года Катарину Кеплер арестовали и посадили в карцер на железную цепь. Четырнадцать месяцев семидесятитрехлетняя женщина просидела прикованной к цепи. День и ночь ее караулили двое стражников.

В обвинении тем временем появлялись новые пункты: Катарина убила «злым взглядом» двоих детей, а также соседского теленка; один портной, который как-то выпил у старухи Кеплер стакан вина, утверждает, что его словно парализовало, двенадцатилетняя девочка указывает на то, что, повстречав старуху на улице, она почувствовала укол в руку; и наконец, несколько очевидцев видели, как Катарина Кеплер проходила через закрытые двери.

Никаких доказательств, разумеется, нет, но в процессах против ведьм доказательства и не нужны, требуется лишь признание самой колдуньи, и его надо получить. А лучшее

средство для этого — пытки. Когда Кеплер узнал, что мать подвергают пыткам, он немедленно отправился в Леонберг. Ему удалось заставить мучителей на время прекратить пытки, а затем он добился, чтобы юридический факультет Тюбингенского университета затребовал все материалы по процессу. Соответствующий запрос Кеплер обосновал тяжёлыми условиями жизни, в которых жила мать: муж плохо обращался с ней и в конце концов оставил семью, Катарина одна воспитывала детей, отчего у нее развился властный, жесткий и своенравный характер, она нередко вступала в споры с соседями и властями, что и побудило их объявить ее колдуньей.

Юристы из Тюбингена пришли к заключению, что в данном случае можно ограничиться «террицио», то есть лишь угрозой пыток в пыточной камере, когда обвиняемому демонстрируют орудия пытки и подробно описывают их действие. Нередко одной такой демонстрации оказывалось достаточно, чтобы добиться признания. Но несгибаемая Катарина Кеплер и бровью не повела при виде щипцов и раскаленных углей, хотя не знала, что дело ограничится одним лишь устрашением. В протоколе записано: «Она сказала, делайте со мной что хотите, хоть все жилы из меня вытяните, мне признаваться не в чем... Я умру, но Бог откроет мою невиновность и накажет неправых...»

Катарину Кеплер отпустили. Полгода спустя она умерла, сын пережил ее на девять лет. Последние годы он служил при дворе Валленштейна и умер в Регенсбурге, где Фердинанд II проводил рейхстаг, на котором Кеплер присутствовал. Именно на этом рейхстаге беженцы из Бамберга обратились к королю Фердинанду с жалобой, что в княжествах Бамберг и Вюрцбург охотники на ведьм организуют дикие процессы и сожгли уже больше двух тысяч человек.

И все это происходило в эпоху, когда закладывались основы Просвещения и Разума. Охота на ведьм продолжалась вплоть до XVIII века, последние казни (обычно сожжение) имели место в Вюрцбурге в 1749 году, в Эдингене в 1751-м, в Кемптене в 1775-м, в Гларусе в 1782 году и, наконец, в Поздене в 1793 году. Одни жгли людей, другие читали Гете!



Преследование ведьм в позднем средневековье стало результатом брожения умов, вызванного политическими и религиозными столкновениями, а также массовой истерией, когда верующие считали, что со дня на день наступит конец света и грянет Страшный Суд.

Впрочем, и в наше трезвое и прагматичное время нередко слышишь о процессах против ведьм, правда, в несколько иных формах. Люди жалуются на то, что их «околдовали». Словом, как не вспомнить несчастную Катарину Кеплер, когда видишь в газетах предложения освободить от «дурного глаза», снять «заговор» или «порчу»!

Более того, увлечение оккультными науками, вера в магические цифры, в сверхземные силы, в число 666, в предсказания, магию и астрологию овладевает все более широкими слоями населения.

Астрология нашла путь к сердцу обывателя через гороскопы, которые во множестве печатаются в газетах и иллюстрированных журналах. Одно время ее ненадолго оттеснила цифровая мистика. Это было при жизни Вольтера и Казановы. В эту пору большое распространение во многих странах получили государственные лотереи, которые порождали у людей иллюзию, что можно внезапно обогатиться, лишь «подобрав ключик». О чудодейственных методах угадывания лотерейных чисел оповестил мир «волшебник» Калиостро. Тысячи людей с замиранием сердца пользовались его советами, а советы его были примерно такого рода: если приснилась спаржа, ставь на пятерку, а, скажем, увиденный во сне дождь означает число 89. Сам Калиостро не выиграл с помощью своих методов ни в одной лотерее, он сумел обогатиться на продаже своих советов. Калиостро подрабатывал и на том, что «одалживал» молодых девиц богатым кавалерам. Он был пойман и приговорен к смертной казни. Потом приговор заменили пожизненным заключением, и Калиостро умер в тюрьме. Такой печальный конец не фигурировал ни в одном из его бесчисленных предсказаний.

Многие великие люди отличались суеверием. Во всякие приметы верил великий русский поэт А. С. Пушкин.

Классический пример пушкинского суеверия в своих воспоминаниях приводит В. И. Даль:

«Всем близким к нему известно странное происшествие, которое спасло его от неминуемой большой беды. Пушкин жил в 1825 году в псковской деревне и ему запрещено было из нее выезжать. Вдруг доходят до него темные и несвязные слухи о кончине императора, потом об отречении от престола цесаревича; подобные события проникают молнией сердце каждого, и мудрено ли, что в смятении и волнении чувств участие и любопытство деревенского жителя неподалеку от столицы возросло до неодолимой степени? Пушкин хотел узнать положительно, сколько правды в носящихся разнородных слухах, что делается у нас и что будет; он вдруг решился выехать тайно из деревни, рассчитав время так, чтобы прибыть в Петербург поздно вечером и потом через сутки уже возвратиться. Поехали; на самых выездах была уже не помню какая-то дурная примета, замеченная дядькою, который исполнял приказание барина своего на этот раз очень неохотно. Отъехав немного от села, Пушкин стал уже раскаиваться в предприятии этом, но ему совестно было от него отказаться, казалось малодушным. Вдруг дядька указывает с отчаянным возгласом на зайца, который перебежал впереди коляски дорогу; Пушкин с большим удовольствием уступил убедительным просьбам дядьки, сказав, что, кроме того, позабыл что-то нужное дома, и воротился».

Пушкин носил сердоликовый перстень, который подарила ему княгиня Е. К. Воронцова. Пушкин очень серьезно относился к этому подарку. «...пришли мне рукописную мою книгу да портрет Чадаева, да перстень — мне грустно без него...» — пишет он из Михайловского Льву Пушкину. С этим перстнем, по свидетельству одного из современников поэта, «Пушкин соединял свое поэтическое дарование: с утратою его должна была утратиться в нем и сила поэзии».

Вот отрывок из воспоминаний на эту тему жены Нащокина: «Много говорили и писали о необычайном суеверии Пушкина. Я лично могу только подтвердить это. С ним и

моим мужем было сущее несчастье... У них существовало великое множество всяких примет. Часто случалось, что, собравшись ехать по какому-нибудь неотложному делу, они приказывали отпрягать тройку, уже поданную к подъезду, и откладывали необходимую поездку из-за того только, что кто-нибудь из домашних или прислуги вручал им какую-нибудь забытую вещь, вроде носового платка, часов и т. п. В этих случаях они ни шагу не делали из дома до тех пор, пока, по их мнению, не пройдет определенный срок, за пределами которого зловещая примета теряет силу».

Когда Пушкин последний раз перед смертью был в Москве у Нащокина, «он за прощальным ужином, — вспоминает В. А. Нащокина, — пролил на скатерть масло. Увидя это, Павел Войнович с досадой заметил:

— Эдакой неловкий! За что ни возьмешься, все роняешь!

— Ну, я на свою голову. Ничего... — ответил Пушкин, которого, видимо, взволновала эта дурная примета».

Великий русский писатель Гоголь в вопросах морали и религии до конца жизни разделял взгляды своей наивной и глуповатой матери. Гоголь искреннейшим образом полагал, что всеми нашими делами управляет сам Господь Бог, притом до самых мельчайших деталей. Бог определяет, что одной девице, скажем, быть замужем, другой — нет. Урожай и неурожай тоже от Бога. Геморрой и тот Бог посылает. Однажды плыл Гоголь по Рейну, пароход ударился об арку моста и сломал колесо. Гоголю пришлось на день остаться в Страсбурге. Авария эта, по его серьезнейшему мнению, случилась для того, чтобы побудить его написать из Страсбурга письмо графине Виельгорской.

Воистину такая вера в божественный промысел сродни суеверию.

Особенно страстно люди желают узнать будущее на пороге чего-то нового, даже если это всего лишь Новый год. Во многих странах Европы в ночь под Новый год льют на блюдечко жидкий свинец или цинк. Некоторые утверждают, что обычай этот пришел из Древней Греции, но вряд ли. Свинец (или цинк) плавят над свечой, а потом в тарелке

или миске заливают водой. Если остывший свинец по форме напоминает звезду, это к счастью, если что-то похожее на крест — к мукам, если маленькие человечки — к богатству. И, не дай Бог, если свинец застынет в виде гроба, — это, конечно, к смерти.

Процедуру гадания по свинцу можно и усложнить. В Восточной Пруссии, например, тот, кто хочет поточнее узнать будущее, держит чашку с водой над головой, а другой льет в нее свинец. Истинные знатоки утверждают, что вода в чашку должна поступать непрерывно, так как только проточная вода в сочетании с расплавленным свинцом способна открыть тайны будущего.

Пожалуй, пруссаков превзошли лишь швейцарцы. По швейцарским обычаям, молоденькая девушка должна набирать воду из колодца, стоя к нему спиной. В эту воду наливают свинец, и, пока он не застынет, на воду надо дуть через трубочку. Такой сложный способ позволяет увидеть в застывшем свинце очертания букв, которые составляют имя будущего жениха.

Неудачникам, которым непременно хочется заглянуть в будущее, а свинца под рукой как назло нет, рекомендуется забраться в новогоднюю ночь на крышу. Но подниматься по лестнице надо раком. Взобравшись на крышу, заглядываешь в печную трубу и видишь тех, кто умрет в наступающем году. Во многих уголках Германии существовал обычай забрасывать в новогоднюю ночь венок на крышу дома. Обычно с остроконечных крыш венок скатывался на землю, но вот если чей-то венок удержится на черепице, тому в наступающем году не миновать смерти — до лета ему не дожить.

В Германии был и такой обычай: в новогоднюю ночь натошак и в полном безмолвии обходили три (иногда даже семь) церкви. В этом безмолвном обходе тебе предстанет весь будущий год. Если грядет война, услышишь топот сапог и ржание лошадей, если дело идет к хорошему урожаю, услышишь, как колосья падают под лезвием серпа.

подавляющая часть предсказаний связана с извечными проблемами людей: болезнью и смертью, счастьем и несчастьем, урожаем и неурожаем.

Мы посмеиваемся над всеми этими суевериями, но нельзя не признать, что трудно жить, не заглядывая в будущее. Всегда приходится как-то планировать свою жизнь заранее, что-то предусматривать. Большие города, экономика страны не могут существовать без прогнозов, планов, без попытки определить перспективы развития. Другое дело, что эти планы подчас напоминают гадание на кофейной гуще, картах или по звездам.

Особенно пустое дело — загадывать в политике. Известный политический комментатор Теодор Вольф в газете «Берлинер Тагеблатт» нередко пытался предугадать будущее развитие событий — ничего путного из этого не получилось. Интересные статьи писал Ганс Церер, долгое время бывший главным редактором солидного еженедельника «Вельт». Когда он умер, сотрудники извлекли из архивов все его статьи и лишь в одной обнаружили более или менее точный прогноз.

А возьмите прогнозы экспертов, касающиеся политической и экономической судьбы нашей планеты, соотношения промышленно развитых и развивающихся стран. Внезапно мы обнаруживаем, что так называемые «третьи страны», владеющие нефтью и другими полезными ископаемыми, вовсе не собираются стать «развитыми» по образцу Европы и Америки, что в будущем тысячелетии как раз они и могут доминировать.

Куда проще медикам прогнозировать состояние нашего здоровья. Можно сделать биопсию печени, правда, несколько иначе, чем это делали в Древнем Вавилоне, и почти наверняка сказать, как долго протянет пациент, который с утра до вечера не просыхает. Однако и в этом случае не все потеряно, эксперты утверждают, что точность тестов, полученных с помощью биопсии печени, равна пятидесяти процентам. И значит, мы снова возвращаемся к кофейной гуще и к звездным гороскопам.

## ТЯГА К КУРЕНИЮ

*Пр*отивники табака трубят победу. Причем во всем мире. Одно из фундаментальных постановлений, открывающих путь в бездымное общество, принял магистрат города Нью-Йорка, которым запрещается курить в лифтах, супермаркетах, аудиториях институтов и колледжей, а также в церквях, соборах, учреждениях культуры и отдыха. Закуривший в этих местах человек карается штрафом до тысячи долларов, а то и годом тюрьмы. Важной этапной вехой на том же пути стал Немецкий конгресс противников курения в Бад-Нейенаре, обсуждавший, как избавить народ от вредных последствий курения, в том числе и пассивного курения. Состоялся ряд процессов, в которых судьи выносили вердикт в пользу некурящих, отстаивающих свое право работать в свободной от табачного дыма атмосфере. В Мюнстере одного врача обязали посещать лекции в Институте повышения квалификации, он же заявил, что готов подчиниться, но при условии, если слушатели не будут курить. В Штутгарте водитель такси отказывался сажать в машину курящих, и суд признал его требование справедливым. В Мюнхене большинство городских жителей высказалось за отмену специальных вагонов для курящих в городском трамвае, при этом чаще всего выдвигалось требование экологической чистоты.

На самом деле все эти конгрессы и процессы — всего лишь продолжение борьбы курящих с некурящими, которая насчитывает многие сотни лет. Английский король Яков I,

сын Марии Стюарт, опубликовал манифест, где клеймил «вонь зажженного табака» и «отвратительную привычку к куреву», которую занес в Англию адмирал Ее Величества королевы Елизаветы сэра Уолтера Рэла.

В наши дни противники курения, похоже, берут верх, прежде они проигрывали одну битву за другой.

Первую решительную победу курильщики, точнее берлинские курильщики, одержали в 1844 году. В Берлине, как и в других городах, до этого времени курение на улице запрещалось из-за опасности пожара. Во время мартовской революции 1848 года восставшие все чаще выражали свое презрение к властям, в том числе и тем, что открыто курили на улицах и площадях, однако полиция не решалась пресекать еще и это правонарушение. В конце концов запрет на курение был снят, что стало важной вехой в развитии революционных событий. Как это произошло, рассказывает основатель электротехники Вернер Сименс:

«19 марта войска вывели из города, и революционеры торжественно внесли павших товарищей на Дворцовую площадь, где король и королева должны были отдать им последние почести. Воодушевленные успехом повстанцы решили пойти на приступ дворца. Молодой князь Лихновский стал их уговаривать не делать этого, потому что король и так выполнит все их требования. «В самом деле?» — спросил один из мятежников. «Слово чести», — последовал ответ. «Даже курение?» — продолжал допытываться революционер. «Да, и курение тоже», — ответил Лихновский, поскольку запрет на курение к тому времени еще существовал. «Даже в Тиргартене?» — уточнил кто-то из самых настырных. «Даже и в Тиргартене», — подтвердил Лихновский. Революционеры были полностью удовлетворены: «Ну тогда мы можем расходиться по домам», и решительно настроенная толпа с шутками и миром разошлась».

Таким образом революция в Берлине «ушла в трубу» вместе с голубым табачным дымом. Требовали гражданских свобод, а удовольствовались свободой курения.

25 марта «по Высочайшему повелению» был опубликован указ: «Запрет на курение табака на улицах нашей резиденции и в пригородах отменяется».

Не все берлинцы оказались довольны этим распоряжением, в последующие годы некурящие жители города неоднократно обращались к властям с требованием вновь ввести запрет на курение в общественных местах. Говорили «об интересах общественной морали и всеобщего благополучия», о том, что правительство поощряет дурные привычки и что некурящие вынуждены дышать табачным дымом. Вместо того чтобы сажать табак, «выкуриваемый самым непристойным и неприличным образом в воздух» и загрязняя тем самым чистую атмосферу, созданную Господом, лучше выращивать хлеб. «Некурящие, — писалось в одном из посланий в полицейское ведомство, — обращаются к вам, господин министр, с убедительной просьбой вернуть запрет на курение, и тогда вся некурящая публика скажет вам спасибо за восстановление чистого и благоуханного воздуха столицы».

Однако, похоже, уже сто пятьдесят лет назад государство видело для себя больше пользы не в чистом воздухе, а в пополнении казны за счет налогов на табачные изделия. При этом курильщики вели себя очень активно и ссылались, особенно в Пруссии, на давнюю традицию времен знаменитой «табачной коллегии» Фридриха Вильгельма I, когда за круглым столом удобно располагались, попыхивали трубками и прихлебывали пиво государственные мужи из ближайшего окружения «солдатского» короля. Говорили, что сам король за вечер выкуривал до тридцати трубок. Легко представить себе, какая мука была участвовать в этих посиделках для тех, кто не курил.

К их числу относился и молодой кронпринц Фридрих, который терпеть не мог, когда курили при нем, и сам в жизни не брал в рот трубки. Он нередко вступал в ожесточенные споры с отцом из-за его «табачной коллегии». Отец бранил сына, называл его тряпкой и размазней за то, что тот не находил радости в этом чисто мужском удовольствии. В окружении короля упорно насаждалось мнение,



что мужчины, не выносящие дыма, — слюнтяи, и эта сомнительная точка зрения возобладала вначале среди прусского офицерства, а затем перекинулась и на студенчество. Интересно отметить, что на это суждение опирается и современная реклама. Если в обществе курильщик давно слывет слабохарактерным человеком, у которого не хватает воли отказаться от пагубной привычки и который тем самым несет угрозу окружающим, реклама по-прежнему изображает курильщика как молодого, сильного, преуспевающего мужчину, который без труда завоевывает себе все лучшее, что может предложить современный мир, будь то элегантная женщина, дорогой автомобиль или отдых на лучших мировых курортах. Он всегда покрыт бронзовым загаром, подтянут и окружен красивыми женщинами.

Кронпринц Фридрих уже в молодые годы понимал, что это не так. Позднее он рассказывал, что все участники «табачной коллегии» постоянно кашляли, как стадо мартовских овец. Кстати сказать, молодой Фридрих не один был в этой компании некурящим. Посланник граф Секендорф также терпеть не мог табака, но вынужден был регулярно принимать участие в заседаниях «табачной коллегии» и глотать дым чужих трубок. Друг короля, фельдмаршал, известный тем, что реорганизовал армию и ввел знаменитый прусский шаг, тоже не любил курить, но не смел нарушить церемониальное действо и держал в зубах холодную трубку.

Нелюбовь к курению унаследовали и потомки фельдмаршала. Например, в княжестве Ангальт-Дессау при Леопольде III был издан указ, который разрешал подданным Его Светлости «вышибать трубку из зубов» курильщика на улице.

И все же курение распространялось в Германии все шире и шире. В университетах уже нельзя было представить себе настоящего бурша без пивной кружки в руках и трубки в зубах. Когда французская писательница мадам де Сталь приехала в Германию, ее поразил закопченный и неуютный вид винных погребков, и она записала в дневнике: «От всех немецких мужчин несет табаком». Впрочем, ма-

дам де Сталь не нравилась и манера жевать или нюхать табак: «Кто курит табак, пахнет, как свинья. Кто нюхает табак, выглядит, как свинья. А кто жует табак, тот просто свинья», — заключила она.

Положение не изменилось и во времена Гете, который резко высказывался против курения. «Курение оглушает человека, — говорил он майору фон Кнебелю, воспитателю принца при Веймарском дворе. — Табак лишает человека способности думать и творить. Курят только тунеядцы, лентяи и люди, которые треть жизни спят, треть — пьют, а остальное время занимаются всякой ерундой, поскольку не знают, как себя занять. Для ленивых турок общаться с трубкой и созерцать кольца голубого дыма — самое милое занятие, потому что оно позволяет им скоротать бесконечное время безделья».

Гете ужасно раздражали курильщики, а еще больше — курильщицы. Одну из своих поварих он уволил с такой характеристикой, что с «рекомендательным» письмом от Гете она больше никуда не могла поступить. Она служила в его доме два года и действительно была неважной поварихой, но главная причина столь немилосердного увольнения несомненно заключалась в том, что повариха тайком курила.

«Она сварлива, груба, нерасторопна и делает жизнь просто невыносимой», — написал он в рекомендации. Повариха отомстила Гете самым коварным образом. Она не только порвала рекомендацию Гете в клочья, но, пока Гете ушел на прогулку, на прощанье выкурила в его кабинете длинную трубку, так что воздух там насквозь пропитался вонючим дымом. Когда Гете открыл дверь, его окутали клубы дыма. Более жестокой мести нельзя было придумать.

«Курение говорит о невоспитанности человека, — писал Гете, — о его нелюбви к окружающим. Курильщики отравляют воздух на много метров вокруг себя и удушают каждого порядочного человека, который не может защититься от вонючего дыма собственной трубкой. Кто в состоянии войти в комнату курильщика без брезгливости и внутреннего сопротивления?»

«А во что только обходится эта дурь! — восклицал Гете. — Теперь в Германии на воздух пускают двадцать пять миллионов талеров, и эта сумма скоро возрастет до сорока, пятидесяти, шестидесяти миллионов! И при этом ни один голодный не накормлен и ни один раздетый не одет. Эти деньги можно было бы употребить куда полезнее!»

Гете как в воду глядел. Суммы, затраченные на курение, неуклонно росли. Несмотря на то что в обществе все глубже укоренялась мысль о вреде курения, все больше молодых людей приобретали эту пагубную привычку. Даже десятилетние мальчишки демонстративно совали в рот сигарету, чтобы доказать свою независимость, а для школьников курить стало особым шиком. Воспитатели и учителя повсеместно отмечали эту растущую тенденцию. Союз учителей Германии потребовал ликвидировать в школах «комнаты для курения» и «уголки для курения».

Печально, но факт: вопреки активной антиникотиновой пропаганде в США, вопреки тому, что миллионы взрослых американцев категорически высказались против курения, в 1997 году отмечено увеличение курящих подростков, — видимо, именно потому, что в молодости хочется поступать наперекор взрослым.

Еще раз вспомним Гете: «Если дело пойдет так и дальше, то через два-три поколения немцы превратятся в орду пивных животов и вонючих пастей. Литература этих недоумков станет бескрылой, жалкой, нищенской».

Увы, к «вонючим пастям» относились такие писатели, как Гердер, Шиллер, Ленау, Байрон, Теккерей, Гофман, Адальберт Штифтер, Оскар Уайльд и многие, многие другие. Курили такие музыканты, как Бах, Бетховен, Брамс, Рихард Штраус.

Наполеон не курил, но нюхал табак. Когда в 1804 году во Франкфурте он познакомился с наследным принцем Гессен-Дармштадским, он сказал ему: «Если Вы приедете в Париж и Ваше платье будет пахнуть табаком, Вас не примет ни одна дама».

То, что Наполеону казалось невысказанным, стало со временем заурядным явлением. Первым к курящим присое-

динился Наполеон III, сигарета в придворных и официальных кругах Франции превратилась в обязательный атрибут общественного поведения, как бы ни возражал против этого Виктор Гюго.

В то же время в Англии, где курение было очень распространено при Елизавете I, в долгие годы правления королевы Виктории курильщикам пришлось нелегко. Во всяком случае, при дворе. Виктория страдала такой же аллергией на табачный дым, что и австрийская императрица Мария Терезия, которая повелела опрыскивать духами приносимые ей на утверждение официальные бумаги, если они пахли табаком.

При дворе королевы Виктории на табак было наложено вето. Рассказывают, что германский кронпринц, а потом и император Вильгельм II, навещая свою бабушку Викторию, курил, лежа на полу, и выдувал табачный дым в камин, чтобы в комнате не было и следа от курева.

В наши демократические времена противникам табачного дыма особенно трудно бороться с курильщиками. Однако первому канцлеру послевоенной Германии Конраду Аденауэру удалось провести постановление, запрещавшее курить в его присутствии во время заседаний кабинета. Даже знаменитый художник Оскар Кокошка, которого так же, как и Жана Поля Сартра, трудно представить без сигареты в зубах, не осмеливался курить при Аденауэре, когда в 1966 году рисовал его портрет. Кокошка вспоминает: «Мы делали между сеансами рисования пятнадцатиминутные перерывы. Канцлер выпивал чашку бульона, а я высккивал на улицу покурить, потому что, несмотря на разрешение, не мог позволить себе курить в присутствии этого великого государственного деятеля».

Мало чего достиг в борьбе с курильщиками Генри Форд, безуспешно пытавшийся отучить рабочих от курения в рабочее время.

Когда Ленин с женой и товарищами по партии в 1917 году совершали свое знаменитое путешествие в спецвагоне через всю Германию, главной проблемой было уговорить их курить поменьше. Ленин также не выносил табачного дыма.

Если в борьбе курящих и некурящих, как правило, побеждают первые, потому что некурящим все же легче вынести дым, чем курящим — отказаться от своей привычки, то куда более драматично протекает борьба курильщика с самим собой. Известно немало историй подобного рода. Вспомним Зигмунда Фрейда, который расценивал пристрастие к сигарете, привычку держать в зубах трубку, сигару как рудимент той поры в жизни человека, когда он младенцем сосал материнскую грудь. Известна фраза писателя Роберта Музиля, что курение для многих людей заменяет работу. «Наилучшее средство против курения — что-нибудь делать. Работать, вместо того чтобы курить». Музиль преподал этот прекрасный совет другим, сам же — работал и курил одновременно!

И снова Фрейд. Однажды приятель предрек психоаналитику, которому тогда не было и сорока лет, что тот умрет в возрасте пятидесяти одного года. Фрейд и сам не верил, что доживет до глубокой старости, у него случались перебои с сердцем и приступы смертного страха. Фрейд считал, что всему виной сигареты, которых он выкуривал штук по двадцать в день. Друзья призывали его бросить курить. Он внял их призыву, но это не помогло, сердечные приступы даже участились. «Как только я бросил курить, — записывает Фрейд в своем дневнике, — жизнь стала омерзительной. Сердце испытывало такие перебои, каких я не знал, когда курил. Ужасная аритмия, постоянное напряжение сердечной сумки, жжение, прилив крови под мышкой. Настроение на нуле; если раньше на меня иногда находила меланхолия, то теперь я нахожусь в постоянном страхе за собственную жизнь».

Фрейд терпел семь недель, а потом снова взялся за сигареты и сразу почувствовал себя значительно лучше, хотя начал сомневаться, что доживет до пятидесяти одного года, полагая, что между сорока и пятидесятью у него будет инфаркт. Друзья уговорили его все-таки отказаться от курения, и Фрейд свел потребление табака до одной сигареты в неделю. Одно время ему казалось, что он сможет отказаться и от нее, но потом снова не выдержал и закурил,

придя к выводу, что бросить курить невозможно. Отметку в пятьдесят один год он преодолел с превышением в тридцать один год и умер от рака ротовой полости.

Рак, точнее рак легких, диагностировали и Томасу Манну, который также много курил. Герой романа «Волшебная гора» Ханс Касторп говорит: «Я не понимаю, как люди могут не курить, они ведь лишают себя самого большого удовольствия и отнимают лучшую часть своей жизни. Когда я утром просыпаюсь, меня согревает одна мысль — что я целый день буду курить; когда я ем, я тоже радуюсь этому, да что там — я, пожалуй, рискну утверждать, что я ем только для того, чтобы потом закурить. День без табака для меня — потерянный день, скучный и печальный. Если бы мне утром сказали: сегодня курить нельзя, не знаю, достало бы у меня сил подняться, ей-богу, я остался бы в постели».

Это ода табаку, к которой, наверное присоединились бы миллионы курильщиков, была, правда, написана тогда, когда были еще неизвестны те тяжелейшие последствия для здоровья, которые оказывает курение. В то время курение еще рассматривали как чистое удовольствие. Либо, с другой стороны, как нечто порочное и непристойное, каким, например, считал курение граф Лев Толстой. Для великого писателя табак был таким же средством одурманивания, как водка, вино, пиво, гашиш, опиум, морфин, эфир. В своем эссе «Для чего люди одурманиваются?» (1890) Толстой доказывал, что люди курят и пьют не от нечего делать и не для того, чтобы скрасить себе жизнь, как они утверждают, а чтобы усыпить свою совесть. Ведь, как говорит Толстой, «жизнь не такова, какая бы она должна быть по требованию совести»? Но у людей недостает мужества ее переделать, и, чтобы не находиться в вечном разладе с собственной совестью, люди ее усыпляют. Толстой даже приводит пример:

«Помню поразившее меня показание судившегося повара, убившего мою родственницу, старую барыню, у которой он служил. Он рассказывал, что, когда он услал свою любовницу горничную и наступило время действовать, он пошел было с ножом к спальне, но почувствовал, что трезвый не может совершить задуманного дела. «Трезвому совестно».

Он вернулся, выпил два стакана припасенной вперед водки и только тогда почувствовал себя готовым и сделал».

«Тот повар, который зарезал свою барыню, рассказывал, что когда он, войдя в спальню, резнул ее ножом по горлу и она упала, хрипя, и кровь хлынула потоком, то он заробел. «Я не мог дорезать, — говорил он, — и вышел из спальни в гостиную, сел там и выкурил папироску». Только одурманившись табаком, он почувствовал себя в силах вернуться в спальню дорезать старуху и разобраться в ее имуществе».

Так же ведут себя люди и в повседневной жизни, полагает Толстой и описывает собственные привычки курильщика:

«Такую определенную потребность к одурманиванию себя табаком в известные, самые затруднительные минуты может заметить в себе всякий курящий. Вспоминаю за время своего курения, когда я чувствовал особенную потребность в табаке. Всегда это было в такие минуты, когда мне особенно хотелось не помнить то, что я помнил, — хотелось забыть, не думать. Сижу я один, ничего не делаю, знаю, что мне надо начать работу, и не хочется — я закуриваю и продолжаю сидеть. Я обещал кому-либо быть у него в 5 часов и засиделся в другом месте; я вспоминаю, что я опоздал, но мне не хочется помнить это, — и я курю. Я раздражен и говорю человеку неприятное и знаю, что делаю дурно, и вижу, что надо перестать, но мне хочется дать ход своему раздражению, — я курю и продолжаю раздражаться. Я играю в карты и проигрываю больше того, чем то, чем я хотел ограничиться, — я курю. Я поставил себя в неловкое положение, я дурно поступил, ошибся, и мне надо сознать свое положение, чтобы выйти из него, но не хочется сознаться, — я обвиняю других и курю».

Толстой считал мнение, что курение способствует умственной работе, деятельности головного мозга, глубоко ошибочным: «Из того же, что люди духовно сильные, подвергаясь принижаящему действию одурманивающих веществ, все-таки произвели великие вещи, мы можем заключить

только то, что они произвели бы еще большие, если бы они не одурманивались. Очень вероятно, как мне говорил один мой знакомый, что книги Канта не были бы написаны таким странным и дурным языком, если бы он не курил так много».

Толстой был убежден, что все зло и все пороки этого мира происходят оттого, что люди постоянно заглушают свою совесть и приводят себя в состояние опьянения. «Раз-ве возможно было бы, — вопрошает Толстой, — чтобы люди непьяные спокойно делали все то, что делается в нашем мире, — от Эйфелевой башни до общей воинской повинности? Без всякой какой бы то ни было надобности... составляют планы; миллионы рабочих дней и пудов железа тратятся на постройку башни; и миллионы людей считают своим долгом влезть на эту башню, побыть на ней и слезть назад... Или другое: все европейские народы вот уже десятки лет заняты тем, чтобы придумывать наилучшие средства убийства людей...»

Когда Толстой писал эти строки, чтобы помочь миру избавиться от ужасного зла одурманивания алкоголем и табаком, ему было шестьдесят два года и он отказался от курения, употребления алкоголя и даже от мяса. Но его хватило ненадолго. Правда, граф по-прежнему не пил и не ел мясного, но от зловредной привычки курить он так и не избавился.

Знаменитый немецкий художник Вильгельм Буш отчетливо осознавал, что курение вредно для его организма, но никак не мог бросить курить или хотя бы сократить число сигарет. Он курил так много, что несколько раз дело доходило до никотинового отравления.

Вовсе свел себя в могилу курением австрийский писатель Франц Верфель, который курил вопреки всем рекомендациям врачей и после того как у него чуть ли не каждую неделю начались сердечные припадки. В пятьдесят шесть лет сердце его не выдержало.

Фридрих Энгельс прожил намного дольше. В течение всей жизни он позволял себе дорогие сигареты, в то время как его расточительный друг Маркс курил дешевую ма-



хорку. Энгельс умер в возрасте семидесяти шести лет от рака пищевода. Врач его записал: «Он уже не может говорить и пишет то, что хочет сказать, на грифельной доске. Тем не менее он всегда в хорошем настроении и пишет уморительно смешные вещи».

Прошла пора, когда курение считалось более или менее безобидной страстью, которая, в общем, не мешает жить. После знаменитого доклада Терри «Курение и здоровье», опубликованного в 1964 году, в котором была прослежена связь между курением и раком легких, обнаружилось, что курение — не только причина карциномы полости рта, желудочно-кишечного тракта, пищевода, мочевого пузыря, но и прежде всего сердечно-сосудистых заболеваний. Была доказана вредность и пассивного курения: люди, вдыхающие табачный дым, выпущенный другими, оказываются подверженными опасности в такой же мере, а то и в большей, чем сами курильщики. Как показали многочисленные измерения, в рабочих цехах, в вагонах поездов на железной дороге, в ресторанах, во всех помещениях, где курят, концентрация никотина и табачной пыли иногда достигает такой степени, как если бы некурящий выкурил несколько сигарет.

Теперь уже нельзя согласиться с высказанным некогда мнением Уинстона Черчилля: «Если какая-нибудь газета будет долго говорить о вреде курения, я просто перестану подписываться на нее». Невозможно представить себе ситуацию, когда не терпящий табака человек из чистой вежливости станет раскуривать тяжелую гавану, как это сделал английский премьер-министр Дизраэли во время визита к Бисмарку.

Дизраэли пишет не переносящей табачного дыма королеве Виктории: «Я принял приглашение Бисмарка. После еды мы перешли в другую комнату, он закурил, и я последовал его примеру. Я, видимо, нанес сокрушительный удар моему здоровью, но полагаю, что это было абсолютно необходимо. В таких обстоятельствах некурящий человек вызывает подозрение, что он критически относится к словам собеседника...»

## СТАРОСТЬ НЕ ПОМЕХА

**В** Германии вновь избранный бундестаг 19 октября 1965 года открывает старейший член этого высшего органа страны. Когда девяностолетний депутат Конрад Аденауэр, который с 1949 по 1963 год занимал пост канцлера, огласил перед собравшимися дату своего рождения: «Я родился 5 января 1876 года», президент бундестага спросил у депутатов, нет ли в зале кого-то старше. Никто не отозвался, и тогда Аденауэр сказал: «Уважаемые дамы и господа, констатирую, я — единственный».

«Единственный» в данном случае означало самый старый член парламента, единственный, кто в таком почтенном возрасте оказался избранным в бундестаг. Аденауэр, умерший в возрасте 91 года, до последнего дня работал над своими воспоминаниями, и в истории он не единственный человек, который в течение столь долгого времени сохранял высокую работоспособность.

«Я — ужасно древний, — сказал как-то философ Артур Шопенгауэр, — у меня хороший сон и здоровый желудок. Я хотел бы дожить до девяноста лет. Даже в восемьдесят лет смерть — это что-то насильственное, а в девяносто жизнь и смерть спокойно идут рука об руку». Его желание не исполнилось — Шопенгауэр умер на семьдесят втором году от воспаления легких.

Почему этот знаменитый пессимист проявил вдруг такой оптимизм? Да и можно ли это назвать оптимизмом? Может быть, за этим скрывался страх, в котором он боялся признаться самому себе и который пытался заглушить разго-

ворами о хорошем сне и здоровом желудке, страх мучительной смерти, болезней и всех прочих напастей, которыми грозит старость? Геттингенский философ и природоиспытатель Георг Кристоф Лихтенберг, который дожил только до пятидесяти семи, сказал однажды, что ничто так не старит человека, как постоянная мысль о старении.

Возможно, за этим скрывается тотальное отрицание старости, которое, в свою очередь, старо как мир, равно как и обожествление молодости. В древности больных и стариков выбрасывали из жилищ, иными словами просто убивали. Лишь постепенно понятие пожилого возраста стало соединяться с такими очевидными ценностями, как жизненный опыт, мудрость. У греков это превратилось, можно сказать, в догму, впоследствии весьма поколебленную молодым Александром Македонским.

Мартин Лютер, который самым внимательным образом изучал Ветхий Завет, считал, что человек должен жить не меньше семидесяти лет, а «если повезет», то и восемьдесят. Ссылаясь на Цицерона, он писал: «Ты достиг старости, когда стал стар, холоден и неприкаен, болен и слаб. Кружка до тех пор годится под воду, пока не разобьется. Я жил достаточно долго, и, надеюсь, Господь приберет меня к рукам. Душа моя вспорхнет, а тело достанется червям».

Гете всегда ставил молодость выше старости. Ему было семьдесят восемь лет, когда он написал Эккерману о Наполеоне: «Да, да, мой милый, чтобы свершать великие дела, надо быть молодым». Затем он добавляет, что, если бы он, Гете, был правителем, он не окружал бы себя людьми, «которые приблизились к власти только в силу своего рождения и затем с возрастом не спеша бредут привычной колеей. Нет, я хотел бы видеть вокруг себя молодые лица! Вот тогда править и нести процветание своему народу было бы одно удовольствие!»

Гете дожил до восьмидесяти трех лет, а Наполеон на острове Святой Елены едва дотянул до пятидесяти двух и умер от рака желудка. Последняя возлюбленная Гете Ульрика фон Левеццов, прожила намного дольше, она ушла из жизни в возрасте девяноста пяти лет, т. е. пережив Гете на шестьдесят семь лет, сохранив ему верность до могилы.

Более оптимистическое (хотя и не бесспорное) отношение к пожилым людям пришло с развитием геронтологии, науки о старении организма человека, и гериатрии — науки о лечении пожилых людей. Появление этих отраслей медицины, как и развитие медицинской науки в целом, привели к тому, что средняя продолжительность жизни значительно возросла в сравнении с предшествовавшими веками. Ни в одной из стран Западной Европы она не опускается ниже семидесяти лет, в Германии средняя продолжительность жизни для мужчин составляет семьдесят два года, для женщин — семьдесят девять лет. Конечно же это усредненные показатели. Чтобы найти таких людей, как Конрад Аденауэр, которые и в девяносто были вполне жизнеспособны и активны, надо усердно перелистать страницы истории.

Начнем с последней ее страницы, помеченной ноябрем 1998 года, когда семидесятивосьмилетний астронавт Джон Гленн совершил семидневный полет в космос. Это уникальное достижение: ведь известно, какому тщательному медицинскому осмотру подвергаются люди перед космическим полетом. Можно с абсолютной уверенностью утверждать, что ни один из людей, живших когда-либо на нашей планете, не проходил в таком возрасте столь строгой проверки состояния здоровья и не показал столь высоких результатов.

Если же углубиться в анналы истории, то прежде всего бросится в глаза тот факт, что многие выдающиеся личности, о которых принято говорить, что они умерли стариками, на самом деле ушли в мир иной в возрасте, который сейчас никто и всерьез не принимает. Фридрих II, например, который оставил память о себе как о блестящем правителе, умер в пятьдесят шесть лет. Его предок Фридрих Барбаросса, в мировых хрониках фигурировавший как человек, который прожил невероятно долго, на самом деле умер в шестьдесят восемь лет — его хватил кондрашка в ванне во время третьего крестового похода.

В античном Риме мало кто из известных личностей доживал до семидесяти, а тем более до восьмидесяти лет. Исключение составляет император Август, который правил пятьдесят пять лет и умер семидесяти шести лет. А в целом продолжи-

тельность жизни в Риме, как и в средневековье, была очень низкой. Карл Великий — тоже редкое исключение — умер в возрасте семидесяти одного года 21 января 814 года. Его погребли в непонятной спешке и, как говорит легенда, даже не в торжественном облачении. Фридрих Барбаросса объявил его святым, и в рождественскую ночь 1165 года мощи Карла Великого, помещенные в золотой сосуд, были перенесены из довольно простой могилы в роскошную усыпальницу.

А умер он оттого, что простудился, принимая ванну, и занимался самолечением, прогнав врачей, которые всю жизнь надоедали ему призывами отказаться от жареной рыбы.

Когда мы вспоминаем о правителях, которые умерли в окружении детей и внуков, перед глазами прежде всего встает фотография английской королевы Виктории. Дагерротип запечатлел старую правительницу с сыном, впоследствии королем Георгом V, с внуком, впоследствии королем Эдуардом VII, и правнуком Эдуардом, который вошел в историю как Эдуард VIII. Последний, правда, отказался от престола и ушел в изгнание с титулом всего лишь герцога Виндзорского. Королева Виктория правила шестьдесят четыре года. Тесть ее старшей дочери — германский кайзер Вильгельм I был одним из немногих правителей, переступивших порог девяноста лет (умер в девяносто один), в то время как его знаменитый канцлер умер восьмидесяти трех.

Если прусский король Вильгельм I, как считают историки, правил очень долго, то образ вечного правителя в еще большей степени подходит австрийскому императору Францу Иосифу, который правил вдвое дольше Вильгельма — шестьдесят восемь лет. Ему было «всего лишь» шестьдесят шесть, когда скоропостижная смерть спасла его от потрясения, которое наверняка свело бы его в могилу, — падения Австро-Венгерской монархии. Но, возможно, «старый добрый господин» и не принял бы крах своего государства так близко к сердцу, поскольку к концу жизни был уже в полном маразме. Мировую войну, к примеру, путал с другими войнами, которые были на его веку, ругал «проклятых пруссаков», полагая, что Австрия воюет с ними, как это было в 1866 году, а когда ему втолковывали, что Пруссия

является союзником Австрии в войне против всего мира, император чрезвычайно расстраивался.

Приблизительно также обстояло дело и с принцем Евгением Савойским, одержавшим славные победы над турками при Сенте и Белграде. Он был не только австрийским полководцем, но и государственным канцлером, военным министром и министром иностранных дел. Но как только ему минуло семьдесят, он не только резко сдал физически, но ему отказала и память. Тем не менее, когда разразилась война за польское наследство между Австрией и Францией, Евгению Савойскому доверили Рейнскую армию. А между тем он уже с трудом соображал, что к чему, плохо помнил собственные приказы. Он их только подписывал и всю военную кампанию провел в походной палатке, сам с собой играл в трик-трак и время от времени чему-то смеялся.

Молодой Фридрих, будущий прусский король, — тогда он был только кронпринцем, — непродолжительное время принимал участие в военном походе. Он с ужасом думал о том, «как Бог может унижить самого возвышенного гения». Трагический конец принца Евгения всегда был у него перед глазами. В своей «Истории моего времени» он писал, что принц Евгений (умерший в семьдесят три года) на несколько лет пережил свою славу. «Какой поучительный урок для человеческого тщеславия! Знаменитый Кондэ, славный Евгений, блистательный Мальборо! Грустно видеть, как дух затухает раньше, чем тело отпустит его, страшно наблюдать старческое слабоумие великих!»

К Фридриху же судьба была благосклонна, и он сохранил ясность сознания до самой смерти, последовавшей в семьдесят четыре года. В семьдесят лет он пишет своему другу д'Аламберу: «Нужно с безмятежной душой приближаться к моменту, который положит конец нашим глупостям и нашим мукам на этой брэнной земле, и радоваться, что смерть освободит нас от тягот жизни. Хорошенько обдумав это важное обстоятельство, я постараюсь сохранять хорошее настроение до тех пор, пока скрипит моя жалкая телега. Я далек от того, чтобы жаловаться на близкий конец, напротив, мне надобно просить прощения у по-

чтенной публики за то, что имею наглость жить так долго, что уже утомил ее, занимая ее внимание в течение почти трех четвертей века, а это уже свыше всякой меры».

Люди мечтают о том, чтобы сохранять и в старости активность и здоровье. Видимо, эта мечта воплотилась в библейских патриархах, которые все — от Адама до Ноя — дожили до преклонного возраста, все перешагнули за сто лет, а дольше всех, как утверждает Моисей, прожил Мафусаил, которому было, как подсчитали, девятьсот шестьдесят девять лет.

Увы, это одна из легенд легендарного времени, и проверить ее невозможно. Греки утверждали, например, что певец хора Стехирос на острове Химера жил девяносто шесть лет, но это абсолютно ничем не подтверждается. Известно только, что он жил в VI веке до н. э. и, по-видимому, действительно дожил до весьма преклонных лет. Нельзя быть уверенным и в том, что Софокл, автор «Электры», «Царя Эдипа» и «Антигоны», умер в девяносто один год.

Рассказам о возрасте редко можно доверять. Известны год смерти и то, что человек прожил долгую жизнь, и по этим данным с большей или меньшей степенью достоверности вычисляют дату рождения. Так было, например, со Святым Антонием, великим чудотворцем и патриархом монашества. Монах-отшельник, которого и в наши дни почитают как защитника от огня, чумы и болезней, умер не то в 356 не то в 357 году, вот и считают, что он родился примерно около 250 года нашей эры. Отсюда и делается вывод: «Ага, стало быть, он прожил больше ста лет».

Из знаменитых старцев переходной эпохи от античности к средневековью сохранилась память о Флавии Кассиодоре, тайном секретаре короля остготов Теодориха Великого. Этот ученый и государственный муж умер, видимо, в возрасте девяноста трех лет, а прославился тем, что понимал необходимость знаний и велел собирать и переписывать все найденные манускрипты, чтобы в смутные времена не потерять богатств античного мира. «Как никому другому, ему удалось воссоединить идею Древнего Рима и напор, свойственный германским племенам», — писал историограф прусского государства Леопольд фон Ранке.

Кстати сказать, Ранке, отличавшийся критическим отношением к источникам и скептицизмом вообще, еще в девяносто лет работал с утра до вечера. Он начал публиковать свою «Всемирную историю» в восемьдесят пять лет. «Я достаточно доверяю публике и миру, — писал он в предисловии к своему труду, первый том которого вышел в 1880 году, — чтобы, будучи в весьма преклонном возрасте, предпринять труд, для осуществления которого надобны молодые и свежие силы, но ведь я предлагаю вашему вниманию не то, что написал в последние годы, а плод всей моей жизни». В последовавшие затем пять с половиной лет Ранке написал девять частей своей «Всемирной истории», из которой при его жизни было опубликовано шесть — это четыре с половиной тысячи страниц, остальные части увидели свет после смерти историка.

Хотя Ранке и утверждал, что для такой работы надобны молодые и свежие силы, тогда же в письме к Бисмарку он пишет: «Я всегда полагал, что историк должен быть человеком пожилым, он должен много пережить и быть свидетелем крупного отрезка современной истории, чтобы понять, как все происходило в прошлом».

Пожалуй, того же мнения придерживался и знаменитый автор знаменитых жизнеописаний Плутарх: «Получить полное представление об истинном положении вещей в древности из писаний историков — задача сложная и многотрудная, ибо время, отделяющее историка от описываемых им событий, затуманивает и искажает четкое их понимание». Но почтенный возраст историка позволял ему отделить зерна от плевел. Любопытно отметить, что Плутарх умер в восемьдесят лет, и в восемьдесят умер француз Амио — первый писатель, который ввел «Сравнительные жизнеописания» в европейскую литературу.

Вообще, есть мнение, что великая литература создается только в пожилом возрасте. Свой шедевр — «Кандид, или Оптимизм» Вольтер написал в 1759 году, т. е. в шестьдесят пять; «Простодушного», который и до сих пор имеет огромный успех, — в семьдесят три года, «Человека с сорока экию» и «Царевну вавилонскую» — в восемьдесят четыре, мелкие повести «Кривой крючник» и «Уши графа



Честерфилда и капеллан Гудман» — после восьмидесяти лет. Поль Моран по этому поводу заметил: французские писатели никогда не бывают столь молоды и свободны от всякого рода помех, как после шестидесяти лет. В этом возрасте они избавляются от романтических тревожений молодости, от погони за почестями, которая в стране, где литература — род общественной деятельности, забирает зрелые годы очень много сил. Гюго написал своих «Отверженных» в шестьдесят лет, Анатоль Франс опубликовал свой роман «Боги жаждут» в шестьдесят восемь. «Старый писатель, как и старый актер, лучше знает свое ремесло, а молодость стиля — это дело техники», — писал Моруа.

Когда Леопольд Ранке в мае 1886 года, т. е. за два года до императора Вильгельма, умер, Аденауэру было уже десять лет. А Бертрану Расселу, английскому философу, лауреату Нобелевской премии, который, уже будучи стариком, с юношеским пылом выступал против атомного оружия и ушел из жизни в девяносто восемь лет, было четырнадцать. К этому же поколению относится и Альберт Швейцер, теолог, музыкант и врач, который в тридцать лет отправился в Африку, где начал просветительскую и миссионерскую деятельность, получившую широкую известность. Когда Швейцера похоронили в африканском городке Ламбарен, это стало событием для всего мира. Похороны прошли по желанию девяностолетнего старца очень скромно, на могиле его установили только простой белый крест.

Уинстон Черчилль называл Швейцера «гением человечества». А сам Черчилль появился на свет на шесть месяцев раньше Швейцера и скончался лишь за восемь месяцев до него. Черчилль тоже прожил долгую и интересную жизнь. К тому же поколению отнесем и английского писателя Сомерсета Моэма, умершего в 1965 году за несколько месяцев до того, как ему исполнилось бы девяносто два года. Задолго до своей смерти он, написавший тридцать романов, две пьесы и три тома новелл, отошел от светской жизни, проживал в поместье и ничего больше не писал. Незадолго до смерти телевизионный репортер спросил Моэма, что бы тот мог сказать о жизни. Писатель ответил: «Я не

хотел бы еще раз ее прожить». В чем же дело? А дело в том, что Моэм всю жизнь страдал от заикания, ему казалось, что над ним все смеются.

Столь же отстраненно и горько звучат слова Бернарда Шоу, сказанные по поводу своего девяностолетия: «Самому заклятому врагу не пожелаю дожить до девяноста лет». Правда, тут не следует забывать, что слова эти сказаны блистательным юмористом и любителем парадоксов. Кто знает, может быть, Шоу имел в виду нечто противоположное? И в самом деле, почему надо желать врагу жить так долго? Сам Шоу после этих слов прожил еще четыре года, и вот что он сказал, когда ему исполнилось девяносто четыре: «Человеку следовало бы учиться до ста лет, изучать профессию в возрасте между ста и двумястами, и лишь потом он начинает кое-что понимать в жизни». Возможно, это была жизненная программа самого писателя, умершего в результате нелепого несчастного случая в 1950 году.

Шестидесятилетний Пабло Пикассо в 1950 году в сравнении с Сомерсетом Моэмом, принимая во внимание годы, которые ему еще предстояло прожить, был еще совсем молодым человеком. К этому времени он уже четыре года жил с Франсуазой Жило, которая была на сорок лет моложе его и родила ему двоих детей Клода и Палому. А ведь впереди был третий ребенок, разные любовные приключения и множество картин! Пикассо был невероятно плодовит до самой смерти, которая наступила в девяносто один год.

Можно вспомнить по этому поводу и герцога Луи Франсуа Армана Ришелье, внучатого племянника знаменитого кардинала Ришелье. Герцог Ришелье был, без сомнения, одним из самых знаменитых любовников своего времени, говорили, что он наставил рога половине придворных короля. Его аферы нередко плохо кончались. В пятнадцать лет он был впервые заключен на полгода в Бастилию, впрочем, тогда это была, можно сказать, «пятизвездочная» тюрьма. А однажды третья жена застала его с любовницей. «Что ж тут невероятного?» — удивитесь вы. Да все дело в том, что жена была моложе герцога на сорок три года и ждала в это время ребенка, а старому повесе шел уже восемьдесят четвер-

тый год! Каждый день герцог выпивал перед едой чайную ложку таинственного зелья, сваренного им самим по секретным рецептам, и дожил до девяноста двух лет.

Еще более преклонного возраста достиг Джон Дэвисон Рокфеллер, основатель промышленной и финансовой империи. Рокфеллер был не только самым богатым человеком в мире, но и, пожалуй, самым ненавидимым, настолько он был безжалостен и жесток. Но когда в 1937 году он умер в возрасте девяноста восьми лет (через несколько минут после того, как сыграл партию в гольф), кладбище было завалено цветами — ненависть обратилась в признание, так как к этому времени бессердечный миллиардер основал и щедро субсидировал несколько фондов в области научных исследований.

Когда Рокфеллер постарел, он отошел от дел. А вот дож Венеции Энрико Дандоло и в девяносто лет все еще правил делами морской республики железной рукой.

У Дандоло было плохое зрение, а в восемьдесят лет он почти ослеп, однако именно тогда его избрали главой государства, и он правил Венецией как подлинный диктатор. Именно Дандоло удалось утвердить господство Венеции над прилегающими морями. В 1204 году он возглавил четвертый крестовый поход, в результате которого рыцари захватили Константинополь. К этому времени Венеция превратилась в мощную морскую державу с базами на Крите, Родосе, Лемносе и других островах в восточной части Средиземного моря.

Константинополь был полностью разрушен. Английский историк Стивен Ренсимен считал этот крестовый поход самым тяжким преступлением против человечества за всю историю существования цивилизации. Дандоло умер в покоренном им Константинополе в 1205 году. Трудно утверждать наверняка, действительно ли ему было тогда девяносто восемь лет, поскольку дата его рождения точно не известна, хотя, по мнению современников, он появился на свет в 1107 году.

Перешел девяностолетний рубеж другой дож, генуэзский адмирал Андреа Дориа. Он родился 30 ноября 1468 года, а умер за пять дней до своего девяностодвухлетия.

Ему было почти восемьдесят, когда он подавил знаменитый заговор Фиески, и восемьдесят шесть, когда он прогнал французов с Корсики, после чего остров некоторое время принадлежал Генуе. Дориа служил императору Карлу V, успешно воевал против турок и оставался на своем посту до самой смерти.

В итальянских республиках — городах Генуе и Венеции — было принято выбирать на высшие государственные должности умудренных опытом пожилых, а то и старых людей. Того же принципа придерживается и Римско-католическая церковь, хотя в средние века большая часть пап были все же довольно молодыми людьми. В истории папства, насчитывающей почти две тысячи лет, мы найдем только троих, которые точно перешагнули за девяносто лет, — это Григорий IX (1147—1241), самый серьезный противник германского короля и императора Священной Римской империи Фридриха II Штауфена в борьбе за первенство в мировой политике. В восемьдесят лет его избрали, как он сам выражался, «викарием Господа Бога», причем все четырнадцать лет на посту папы Григорий IX правил деятельно и энергично.

Долго жил Иннокентий X (1574—1665, папа с 1644 года), хотя, надо сказать, в последние годы он перестал быть крупным церковным авторитетом. Лев XIII был выбран на трон Петра в 1878 году в возрасте шестидесяти восьми лет и умер девяносто трех.

Пожалуй, на папах и закончим наши поиски самых старых людей в истории человечества. Конечно, можно найти еще кое-кого, кто перешагнул для нормального человека «мафусаилов возраст» — девяносто лет, но всех ведь не перечислишь! Упомянем, пожалуй, еще умершего в возрасте девяносто одного года Томаса Гоббса, английского философа XVII века, который учил, что «человеческая природа первоначально побуждается только эгоизмом», и лишь государство кладет конец «войне всех против всех». В жизни Гоббс был очень умеренным человеком, после семидесяти лет он перестал пить вино и есть мясо. До самой смерти он плодотворно трудился и писал книги.

Из знаменитых женщин нельзя не сказать о сестре милосердия Флоренс Найтингейл, получившей известность во время Крымской войны. Всю жизнь она положила на создание системы ухода за пострадовавшими на войне или в результате несчастных случаев в мирное время. Она умерла в девяносто лет.

В возрасте девяноста четырех лет умерла знаменитая мать Тереза.

Козима Вагнер, дочь Франца Листа и Мари д'Ажу, которая в 1870 году стала женой Рихарда Вагнера, пережила его почти на полвека и умерла в девяносто три года. Именно ей мы обязаны продолжением знаменитых Вагнеровских фестивалей в Байрейте.

До восьмидесяти восьми лет дотянула американская писательница Элен Келлер (1882—1968). Совсем маленькой, в возрасте полутора лет, она потеряла зрение и слух, но научилась читать по системе Брайля, училась в Радклиффском колледже, получила степень доктора философии, написала много книг.

Не забудем и учительницу из Гамбурга писательницу Элиз Авердик, которая основала в Америке клинику Бетезда. В девяносто лет Авердик начала писать мемуары. Умерла она почти ста лет.

Тут мы приблизились к возрасту, который приписывают художнику Тициану, великому мастеру венецианского Ренессанса. Его последняя работа «Оплакивание Христа», начатая в 1573 году, осталась незаконченной. Тициан умер от чумы. Долгое время считали, что он дожил до ста лет, но теперь историки склоняются ко мнению, что он родился не в 1476/77, а скорее в 1489/90 году, т. е. в 1576 году, когда на город обрушилась эпидемия чумы, ему было всего восемьдесят шесть лет.

Пока это высокая планка продолжительности жизни человека. Правда, ученые обещают создать такое сердце, которое будет способно работать двести лет. Может быть, наши читатели лет через сто улыбнутся, читая строки о девяностолетних «рекордсменах».

## ПОД НОВЫЙ ГОД В ГОЛОВУ ПРИХОДЯТ ВСЯКИЕ МЫСЛИ

**В** наши дни перед наступлением Рождества и Нового года все только и думают о подарках: что купить родным и близким и что подарят вам. Но не всегда Новый год был поводом для подарков и поздравлений. Если почитать письма и дневники великих, легко убедиться, что лет двести тому назад Рождество вовсе не считалось каким-то особым праздником, более того, именно в эти дни нередко происходили военные противостояния, разгорались сражения.

«Я слишком устал, чтобы ответить на ваши чудесные стихи, и слишком замерз...» — пишет Вольтеру, сидя в нетопленном доме в крепости Глоггов, молодой прусский король Фридрих, который напал на Силезию. На дворе — Рождество 1740 года. «Не хотите ли узнать, как я живу? С четырех утра до четырех пополудни мы на марше. Потом мне подают обед, я работаю и принимаю докучливых посетителей, затем следует масса малоприятных дел: я должен осадить заносчивых, охладить слишком горячих, заставить шевелиться ленивых, удержать жадных от страсти к мародерству, слушать болтунов. Вот мои основные занятия. Как охотно я занялся бы чем-нибудь другим, если бы меня не побуждал к такого рода деятельности фантом, называемый славой...»

И в самом деле, неуемное желание славы заставляло Фридриха развязывать одну войну за другой. Войны себя оправдали: к Пруссии была присоединена Силезия, и Фридрих триумфатором вернулся в Берлин. Вскоре, однако, слава

надоела ему. Восемь лет спустя, и тоже под Новый год, он пишет: «Мне обрыдла эта жизнь, Вечный Жид скитался меньше, чем я». Но вот ему тридцать восемь, Пруссия становится великой европейской державой, и в рождественскую ночь он пишет Вольтеру слова, которые не потеряли смысла и по сей день:

«Взвешенность, золотая середина — к этому должно прежде всего стремиться любое государство. Богатство порождает безволие и деградацию. Я не утверждаю, что в наши дни могло бы существовать такое государство, как Спарта, однако надо стараться занять промежуточное состояние между скудостью и изобилием. В этом случае национальный характер не утратит мужественности, работоспособности и воли к величию. Богатство делает человека либо скрягой, либо транжирой».

Вряд ли Пруссию Фридриха Великого можно было отнести к транжирам. Лессинг в пору, когда служил секретарем прусского генерала Тауэнцина и принимал участие в Семилетней войне, назвал ее «самым рабским государством Европы».

У Лессинга в 1777 году в день Рождества Христова родился сын, однако умерший буквально через несколько часов. Лессинг пишет в одном из писем: «Моя радость была столь непродолжительной! Какое горе потерять сына! Он был таким умным, таким смышленным! Вы не поверите, но несколько часов отцовства сделали меня просто сумасшедшим родителем. Я хорошо знаю, о чем говорю. Разве сын не выказал сметки, когда не желал являться на этот никчемный свет и его пришлось тащить железными щипцами? Разве не доказал он, что не так глуп, как мы, и воспользовался первой возможностью, чтобы удрать из этого омерзительного мира? Какое горе, что малыш хочет забрать с собой и мать! Мало надежды, что она останется в живых. Мне так хотелось быть счастливым, как все смертные, но, кажется, мне этого не дано».

Действительно, жена умирает несколько дней спустя, и Лессинг пишет печальные строчки: «Теперь я обогатился и этим опытом. Радуюсь только тому, что, похоже, подобного

опыта у меня уже более чем достаточно, и вряд ли его у меня еще прибавится». Через три года, в возрасте пятидесяти двух лет, Лессинг тоже ушел из жизни.

Это произошло в 1781 году. За два дня до сочельника двадцатичетырехлетний Моцарт пишет из Вены длинное письмо отцу. Он начинает с яростных упреков в адрес «мерзавца» Винтера, «который только и знает, что лжет». По-видимому, скрипач Петер Вебер намекнул отцу Моцарта на связь его сына с Констанцией Вебер. Мало того, Винтер предупреждал и опекуна Констанции, что с Моцартом «нужно держать ухо востро, что он бессовестный малый, стоит ему добиться взаимности, как он обесчестит девушку и бросит ее...»

Моцарт пишет «дорогому папочке», что он решил положить конец грязным намекам и предложить Констанции руку и сердце. «Я составляю официальную бумагу, что обязуюсь «в течение 3 лет вступить в брак с мадемуазель Констанцией Вебер; если же какие-либо события не позволят мне осуществить это намерение, я буду выплачивать ей ежегодно по триста гульденов». Сумма была немалая, и Моцарт поясняет отцу: «Мне легко поклясться в этом, ведь я знаю, что дело никогда не дойдет до выплаты этих трехсот гульденов, потому что я никогда не брошу Констанцию. А если на меня найдет затмение и я изменю свое намерение, мне останется только радоваться, что за триста гульденов я могу освободить себя от нежелательной женитьбы, к тому же Констанция, насколько я ее знаю, слишком горда, чтобы взять от меня деньги при таком повороте событий».

Знаешь, что сделала эта возвышенная девушка? — продолжает он успокаивать отца относительно своего брачного контракта. — Она сказала мне: «Дорогой Моцарт! Не надо мне никаких письменных заверений, я и так тебе верю», — и разорвала мою записку в клочья. Этот жест сделал ее в моих глазах еще более привлекательной».

В заключение своего письма Моцарт просит отца дать согласие на брак с девушкой, «у которой есть все, кроме денег», и просит извинить его за то, что он как бы предпринимает это согласие. Он также посвящает несколько слов



этому «мерзавцу» Винтеру: «По поводу Винтера я вот что еще хочу добавить: он мне сказал как-то: «Вы сделаете большую глупость, если женитесь. Вы достаточно зарабатываете, чтобы содержать любовницу. Зачем Вам жена? Если Вы руководствуетесь моральными соображениями, то плюньте на них».

А еще через десять лет Моцарта уже нет в живых, и Фридрих Великий покинул этот мир, во Франции разразилась Великая революция, и в сочельник 1792 года Гете пишет письмо матери (это тот самый год, когда, услышав канонаду под Вальми, он пророчески возвестил: «Начинается новая эпоха мировой истории»). Гете отвечает на ее письмо, доставленное ему «в самое пекло войны». Мать спрашивала, даст ли он согласие на пост государственного советника во Франкфурте. Гете долгое время уходил от ответа, но теперь говорит начистоту: «Его высочество герцог столь долгие годы выказывали мне высочайшую милость, что было бы черной неблагодарностью оставить пост, который я занимаю, в момент, когда государство особенно нуждается в моей службе». Гете предвидел крушение «Священной Римской империи германской нации», но не считал это национальной катастрофой. Гете занят постановкой своей пьесы, и баталии, идущие в Европе, интересуют его меньше, чем судьба его произведения: «Я нанял трех человек, чтобы переписывать пьесу, и мне остается надеяться, что они закончат к Новому году».

А в Европе бушуют войны. Коалиция в составе Англии, Австрии, России, Турции, Неаполя, Ватикана выступает единым фронтом против Французской республики. Первый консул ее Наполеон Бонапарт объявляет: «Революция закончилась!» — и направляет в Рождество 1799 года послание английскому королю с увещеваниями: «Неужто война, которая вот уже восемь лет идет в четырех частях света, должна стать вечной? Неужто нет способов договориться? Как могут два самых просвещенных государства Европы, а они могущественнее и сильнее, чем этого требуют их собственная безопасность и независимость, приносить в жертву тщеславию благополучие своей торговли, своего достояния,

счастье семей своих граждан? Почему мы не можем понять, что не только слава, но и мир является первейшей необходимостью наших сограждан?»

Наполеон мечтал о мире и вел нескончаемые войны. Осенью 1805 года — к этому времени он уже был императором Франции — он двинулся на Австрию и 2 декабря в «битве трех императоров» под Аустерлицем одержал безоговорочную победу над объединенной австро-русской армией. Незадолго до этого его войска заняли Вену, где как раз в эти дни впервые была поставлена на сцене почти пустого театра опера Бетховена «Фиделио». В рождественском номере журнала «Свободомыслие», издававшегося Коцебу, Бетховен мог прочесть следующее:

«В последнее время новинки нас не радуют. Не понравилась и новая опера Бетховена «Фиделио, или Супружеская любовь». Она шла лишь несколько раз, поскольку не имела никакого успеха. Да и музыка значительно ниже той, что могли ждать почитатели и знатоки Бетховена. Как ни старайся увидеть в мелодиях и музыкальных характеристиках персонажей полное и захватывающее отражение страсти, какое мы находим в творениях Моцарта или Керубино, в «Фиделио» их не отыскать. Не скроем, и здесь есть прелестные пассажи, но и они не могут спасти эту просто слабую оперу».

Бетховену шел тридцать пятый год, последнее свое Рождество он пережил двумя десятками лет позже. К тому времени он уже совсем оглох, у него был цирроз печени, который врачи называли «водянкой». Бетховена положили на операционный стол за несколько дней до сочельника, и профессор Вавруч выпустил воду. Бетховен не слышал, что ему говорят, поэтому всегда держал при себе тетрадку, где мы и находим следующий диалог:

В а в р у ч: Я думаю, через полчаса вам станет легче. Старый герцог Йоркский подвергался этой операции четыре раза, и теперь чувствует себя гораздо лучше.

К а р л, п л е м я н н и к Б е т х о в е н а: Похоже, вмешательство тебе помогло, вода течет как из ручья.

В а в р у ч: В самом деле. Вам лучше? Если нет, скажите. Вам было очень больно, когда я прокалывал полость? С сегодняшнего дня солнце начинает все выше подниматься над горизонтом. Спаси вас Бог! Давайте ему теплое молоко с миндалем. Сейчас не больно? Лежите спокойно на боку. Мы замерим, сколько вышло воды. Пять с половиной стаканов. Надеюсь, вы сегодня сможете спокойно уснуть. Вы держались мужественно, по-рыцарски.

П л е м я н н и к: Дядя! Главное, лежи спокойно, старайся избегать резких движений. Молока можешь пить сколько хочешь. Кофе — только одну чашку в день. Вавруч говорит, ты уже несколько лет носил в себе эту тяжесть.

Молодой Герхард фон Бройнинг, который уделял больному немало времени, выяснял у врача, хорошо ли прошла операция и насколько она была болезненна для Бетховена. Он заносит в тетрадь следующую запись: «Мне сказали сегодня, что тебя заели клопы, и ты просыпался каждую минуту. А ведь тебе так необходим здоровый сон! Я принесу средство от клопов».

Но ни средство от клопов, ни дальнейшие хирургические вмешательства уже не могли спасти композитора, его желание, выраженное в один из декабрьских дней, так и осталось невыполненным: «Я надеюсь написать еще несколько больших сочинений и только тогда уйти на вечный покой».

Его жизнь оборвалась. Желтуха, постоянная рвота и удушье доконали великого музыканта. Людвиг ван Бетховен умер 26 марта 1827 года.

К этому времени не было в живых и Наполеона, который был на год моложе Бетховена. Любопытно прочесть его письмо, написанное в Рождество 1809 года Жозефине, которую он страстно любил, хотя она начала изменять императору сразу после свадьбы и продавала его любовные письма охотникам за автографами. Наполеон прожил с Жозефиной тринадцать лет, но и, расторгнув брак, продолжал питать к ней пылкие чувства. Он очень любил и детей от этого брака — Гортензию и Евгения. Сына он сделал вице-королем Италии. Так вот, в этом рождественском письме император пишет:

«Евгений сказал мне вчера, что ты была печальна весь день. Зачем так, мой друг? Ведь ты обещала мне быть веселой. Меня очень огорчил вид Тюильри. Когда я снова увидел этот огромный замок, он показался мне таким пустым, мне было там так одиноко! До свиданья, моя дорогая, будь здорова, не скучай!»

В Рождество 1815 года «пленный орел» получает на острове Святой Елены письмо от матери. Как пишет граф де Монтолон, добровольно отправившийся вместе с Наполеоном в ссылку, письмо погрузило опального императора «в тягостные воспоминания». Де Монтолон записывает в свой дневник: «26 декабря. Печальный день. Император все еще находится под впечатлением от письма матери. Напрасно он пыгается рассеяться работой. Здесь, на острове, много путешественников, и все хотели бы видеть Наполеона, он отказывается и раздраженно говорит адмиралу: объясните им — мертвецы не принимают гостей!»

Мертвецы! А ведь, кажется, еще вчера вся молодая интеллигенция Европы, не исключая и Германии, обожала этого человека, видела в нем создателя новых человеческих отношений. Гете считал его универсальным гением, Гегель приравнивал его к мировому духу, Гёльдерлин сравнивал его с «духом природы», который нельзя запереть ни в каком сосуде!

Под Рождество 1821 года (год смерти Наполеона) поэт Клеменс Брентано пишет своему крестнику: «Сейчас стоят страшные холода, бедные дети мерзнут, в бедных семьях нет воды, потому что колодцы высохли, а пруды замерзли. Коровам не дают пить, от этого у них пропадает молоко, и дети, и взрослые не только мерзнут, но еще и голодают. Что же делать? Спросим у Христа, и он нам ответит: «Подайте бедным и сирым, и вы дадите милостыню мне». А кто не может дать милостыню, как, например, маленькие дети и как ты, тот должен молиться за бедных, чтобы Бог послал к ним ангелов. Те принесут и платье, и дрова, и какую-нибудь еду».

Рождество Христово стали праздновать только с IV века н. э., и эта традиция натолкнулась поначалу на актив-

нейшее сопротивление официальной церкви и лишь постепенно обрела права всеми любимого домашнего праздника. Рождественская елка, которую Гете в шестнадцать лет воспринимал как новинку, в XIX веке уже неотъемлемая часть торжества. А рождественские подарки появились раньше елок.

Но под Рождество случались и другие события. 22 декабря 1849 года Достоевский из Петропавловской крепости пишет брату о том, что его и других политзаключенных вывели за два дня до праздника на Семеновский плац в Петербурге. «Там всем нам прочли смертный приговор, дали приложиться к кресту, переломили над головами шпаги и устроили нам предсмертный туалет (белые рубахи). Затем троих поставили к столбу для исполнения казни. Я стоял шестым, вызывали по трое, следовательно, я был во второй очереди и жить мне оставалось не более минуты».

Тут-то и выснилось, что все это было фарсом для устрашения заключенных. Людей отвязали от столба, было провозглашено, что Его Величество дарует всем жизнь, и огласили настоящие приговоры. Достоевский получил четыре года принудительных работ.

Транспорт в Сибирь уходил в сочельник. Достоевский дописывает: «Не знаю, пойду ли я по этапу или поеду. Кажется, поеду».

Пока в России бушевали политические страсти, в Германии наступила так называемая эпоха «бидермейер» с идеалами прочного семейного уклада, теплого очага, уюта, безмятежной жизни в кругу близких и родных. На Рождество 1856 года Теодор Шторм пишет:

«Весь дом пропах пирожными... я уже несколько недель вдыхаю запах елки. А мои ногти покрылись золотой пылью, потому что я с утра до вечера заворачиваю подарки в позолоченную бумагу и украшаю их мишурой и пестрыми лентами. Вчера вечером я даже помогал кухарке резать миндаль и лимоны для рождественского торта, я осыпал его кардамоном и прочими пряностями...»

Но каждый обыватель этой «уютной» эпохи понимал, что почва под «тихой» жизнью зыбкая, страх витал в воз-

духе. Под Рождество 1860 года Штифтер пишет Луизе фон Айхендорф:

«Положение в мире внушает серьезное беспокойство, и если бы не большая любовь жены ко мне и еще большая — моя к ней, что составляет наше счастье; если бы не было рядом хороших и добрых людей, которые делают жизнь сносной, то в сегодняшней Европе не стоило бы жить, так много мы видим зла, безумия и дурных поступков».

Особенно беспокоила Штифтера война с Италией и Францией, в которой австрийская армия под Сольферино потерпела сокрушительное поражение. Штифтер ненавидел мир, который допускает жестокие братоубийственные войны и даже считает их чуть ли не венцом человеческих деяний. Легко себе представить бурю негодований, которую вызвал у этого миролюбивого человека конфликт между Пруссией и Австрией 1866 года; ответственность за него он целиком возложил на государственного деятеля, который «во всем этом виноват» и для которого он не находит иных слов, кроме проклятия. Этот человек — Бисмарк. Впрочем, в 1860 году Бисмарк занимает пока лишь пост посланника в Санкт-Петербурге, и в Рождество у него одна забота — выбрать подарок для жены. «Я не нахожу для Иоганны ничего за мало-мальски приемлемую цену, — пишет он сестре Мальвине, — найди ей у нас дома в магазине Фридберга 12—20 самых крупных бусин, которые подошли бы к ее ожерелью, я готов выложить за них до 300 талеров...»

Два года спустя — Бисмарк к этому времени становится премьер-министром Пруссии, продолжая оставаться министром иностранных дел, — кронпринц Фридрих Вильгельм помечает в своем дневнике после встречи с князем под Рождество: «Во время беседы он отпускал сомнительные, а то и непристойные шутки, и вообще мне не понравился». Он заносит такие свои впечатления от поездки за рождественскими подарками, за которыми он отправился с женой: «Тут нас подстерегала беда. У Гальских ворот на нас наехала крестьянская телега и ударила по карете с такой силой, что стекла разбились вдребезги, уличный фо-

нарь погнулся, а моей бедной женушке осколок стекла порезал руку так, что мы были вынуждены немедленно отправиться к доктору Вагнеру».

Порой нам кажется, что в былые времена жизнь была спокойнее и безмятежнее, шла неторопливо. Увы! Беды и горести всегда были неразлучны с человеком. Вот письмо Поля Гогена, написанное в рождественский вечер 1886 года. За несколько лет до этого Гоген бросил надежную, приносящую постоянный доход работу, чтобы целиком посвятить себя живописи. Семья разделилась: жена с двумя старшими детьми живет в Дании, он — с младшим Кловисом — в Париже.

«Моя дорогая Метте! — пишет Гоген. — Не знаю, как и прожить на 350 франков, которые я выручил, заложив пальто. Мне ведь надо было еще оплачивать пансион для Кловиса. Теперь он живет со мной. У бедняги нет никакой обуви, и я не могу купить ему на праздник игрушек. Но постепенно привыкаешь ко всему. Только что мне пришлось отлежать 27 дней в больнице. Сейчас меня выписали. К зиме меня всегда одолевает боль в пояснице».

Гоген с трудом переносил разлуку с семьей. Но еще труднее оказалось жить на мизерные доходы, которые приносила ему живопись. «Ты, наверное, полагаешь, — продолжает художник, — что, лежа с открытыми глазами ночами на больничной койке, я радовался своему одиночеству? Ничего подобного, во мне собирается все больше желчи, и, когда ты приедешь, а ты ведь собиралась навести Кловиса, я выплесну ее на тебя. У тебя есть дом и надежный кусок хлеба. Береги свое нынешнее состояние как зеницу ока. Ты живешь в раю. Я же напротив... Спроси знатоков, что они думают о моих картинах. Но только они ничего не приносят. А тот, у которого ничего нет, — пропащий человек. Между тем вся моя одежда перекочевала в ломбард, мне даже не в чем пойти к знакомым».

Письмо заканчивается просьбой: «Если у тебя есть какие-нибудь панталоны, пришли их мне, я совсем голый. Видишь, мне снова приходится побираться. Твой супруг Поль».

Так что «добрые старые времена» не для всех были добрыми. Вернемся к Бисмарку. Он стал «железным канцлером», основал Германскую империю, написал свои «Мысли и воспоминания», два тома вышли осенью 1898 года. Баронесса Шпитцемберг среди рождественских впечатлений, которые она поверяет дневнику, записывает:

«Господин Шерингер, владелец книжного магазина, жалуется на то, что все сто тысяч экземпляров были распроданы в один миг, типография не поспевает за спросом. Интересно отметить (такого еще не бывало), что книгу покупают не только образованные люди из самых разных политических и религиозных кругов, но и простые ремесленники, пекари, мясники, которые признаются, что не собираются читать книгу, потому что они вряд ли ее поймут, но непременно хотят иметь ее в своем доме. Какая наивность и трогательность!»

Пожалуй, сыновья добропорядочных мясников и пекарей еще не до конца перелистали книгу Бисмарка, как в их доме появился новый бестселлер, который также прочли немногие, — «Майн Кампф» Гитлера. Стоит упомянуть этот факт рядом с именем фронтового офицера Эмиля Барта и его записью в дневнике 1944 года: «Вчера был сочельник... Мы отсиживаемся в холодном подвале, спасаясь от бомб, тысячами падающих с неба. Земля содрогается от монотонных взрывов...»

Нельзя не вспомнить и рождественской записи 27 декабря 1943 года тринадцатилетней еврейской девочки Анны Франк, семью которой добрые люди спрятали от гестапо на одном из чердаков Амстердама: «Первый раз в жизни получила подарок на Рождество. Мип спекла пирог с надписью: Мир в 1944 г.»

Перед самым концом войны в марте 1945 года Анна Франк погибла в концентрационном лагере Берген-Бельзен. В ее дневнике находим и такую запись: «Я верю в доброту людей».



# И В МОГИЛЕ НЕ НАШЛИ ПОКОЯ

Люди издревле верили, что мертвым нужен покой, что их не следует беспокоить. И это нужно не только мертвым, но и живым. Души умерших, которые не нашли покоя, могут стать, как думали наши предки, вечной карой для живых. Они мстят за причиненное им зло, за то, что их забыли, за то, что плохо проводили в последний путь. Могила является чем-то вроде зала ожидания, преддверия новой жизни, местом погребения тела усопшего. Надругательство над могилами во все века считалось тяжким преступлением.

В царском городе мертвых в Древнем Вавилоне ужасная кара ждала того, кто осмеливался вскрыть могилу. В Египте за сотни лет были мумифицированы тела миллионов людей, а в души живущих внедрялся страх перед осквернением могил, любую попытку нарушить покой мертвых. Но ни проклятья, ни хитроумные приспособления для защиты усыпальницы, ни устройство ложных ходов, уводящих в сторону от подлинной могилы, не останавливали «могильных взломщиков». Да что там говорить, ведь и в наши дни тысячи посетителей музеев таращатся на мумии фараонов, хотя, чтобы обеспечить им вечный покой, были затрачены такие усилия!

Иногда покой мертвых нарушали по религиозным соображениям. Например, мощи святых в христианских церквях неоднократно эксгумировали, иной раз просто крали, а потом делили на крохотные кусочки, которые затем продавали, раздаривали, обожествляли. Несколько лет тому на-

зад под алтарем ватиканской базилики в Риме нашли якобы останки Святого Петра. Все притязания папства зиждется на идее, что Ватикан основан Святым Петром, поэтому земные наместники Господа всегда пытались обнаружить какие-то реальные доказательства своих прав. Обнаружены были кости мужчины шестидесяти — семидесяти лет, крепкого телосложения, невысокого роста. Останки были завернуты в истлевшую пурпурную ткань, прошитую золотыми нитями. Мощи лежали в деревянном ящичке, который стоял в гроте.

Сюда они попали якобы из ниши в так называемой «стене граффити», на которой уже было начертано «Здесь покоится Петр», а в нишу их перенесли из первоначальной могилы для большей сохранности, так как боялись, что их расхитят охотники за реликвиями. По крайней мере, так утверждает Маргарита Гардуччи, профессор эпиграфики Римского университета, которая и обнаружила деревянный ящик. Папа Павел VI объявил в июле 1968 года: «Останки Святого Петра идентифицированы с помощью метода, который представляется нам убедительным». Папу этот метод убедил, науку — вряд ли.

Вообще мертвых беспокоят чаще всего по политическим причинам. Цицерона, например, которого в 43 году до н. э. убили политические противники, преследовали и после смерти. Его тело разрезали на куски. Когда их привезли в Рим, Марк Антоний, который годом раньше вместе с Цезарем был римским консулом, велел установить урну с останками Цицерона над ораторской трибуной.

Расчленение трупа и отсутствие могилы считалось самым тяжким и позорным наказанием уже у древних греков. В гомеровской «Илиаде» тело Гектора отдали на растерзание собакам, а не предали огню, как положено. У Софокла Электра требует, чтобы труп Эгея остался незахороненным. Тиберия Гракха, который вместе с братом Гаем пытался поднять в столице социальную революцию, римляне наказали тем, что, убив, лишили его могилы. Плутарх рассказывает: «Когда брат попросил отдать ему тело, чтобы тайно похоронить его ночью, ему отказали и сбросили

тело вместе с другими трупами в Тибр». Гай Гракх покончил с собой, и ему также было отказано в погребении.

Немало веков пролетело над Италией, и пришел черед игр с останками Данте Алигьери, автора бессмертной «Божественной комедии». Данте, как известно, был активным политическим деятелем. Его изгнали из родной Флоренции, где поэта дважды заочно приговаривали к смерти. Данте умер в Равенне, через восемь лет после его смерти папский легат Бертран дю Пуже потребовал выкопать кости из могилы и предать их сожжению на костре, но правители Равенны воспротивились этому. Прошло еще несколько десятилетий, и симпатии флорентийцев склонились в пользу поэта, они попросили отдать им кости, чтобы упокоить их в усыпальнице собора Санта-Мария дель Фьоре. Равенна отказалась и продолжала стоять на своем всякий раз, когда флорентийцы умоляли отдать им останки своего великого гражданина. Последний раз такая просьба была высказана в 1864 году.

А тем временем выясняется, что саркофаг Данте вообще пуст. Его вскрыли в 1520 году. Останки нашли — и весьма своевременно — в 1865 году, как раз к 600-летию рождения поэта, в канун официальных торжеств. Одному церковному служке якобы Данте явился во сне и указал, в каком месте церковной стены следует искать его кости. Когда стену взломали, люди увидели деревянный ящик с надписью, что в 1520 году францисканские монахи перенесли сюда кости из саркофага, чтобы они никогда не попали в руки жадным флорентийцам. Бедные кости потревожили еще раз в 1921 году — на 600-летие смерти Данте, чтобы дать ученым возможность обмерить, реконструировать и проинвентаризировать останки великого поэта. Только после этого Данте наконец оставили в покое.

В Третьем рейхе миллионы евреев сожгли в кремационных печах, а прах их развеяли по ветру, дабы не осталось от них никаких следов. Однако не всегда развеянный пепел означал кару и возмездие. Часто это делалось для того, чтобы воспрепятствовать созданию мифов или культовому обожествлению, как случилось, например, в 1974 году с

останками пражского студента Яна Палаха. Палах, как известно, облил себя керосином и поджег на Вацлавской площади в знак протеста против оккупации Чехословакии Советской Армией. Служба безопасности так боялась антиправительственных демонстраций, что не нашла ничего лучшего, как вскрыть могилу и извлечь из нее прах Палаха. Официально было объявлено, что эксгумация проводится по просьбе матери и брата покойного, на самом же деле для госбезопасности было важно уничтожить всякие земные следы Палаха.

После Второй мировой войны было решено развеять по ветру прах людей, виновных в массовом убийстве четырех или даже пяти миллионов евреев. Это были лица, осужденные как нацистские преступники Нюрнбергским трибуналом. Все они (за исключением Германа Геринга, который в тюрьме покончил с собой) были повешены, а трупы их сожжены. Прах Риббентропа, Кейтеля, Кальтенбруннера, Розенберга, Франка, Фрика, Штрейхера, Заукеля, Йодля и Зейсса-Инкварта был выброшен в воды реки Изар. Кости заочно приговоренного к смертной казни Бормана были обнаружены только четверть века спустя в Берлине. Они были идентифицированы и захоронены в 1974 году.

Иначе размышлял рейхсфюрер СС и шеф немецкой полиции Гиммлер, когда речь зашла о захоронении казненных участников заговора против Гитлера офицеров графа Клауса фон Штауфенберга, Бека, Ольбрихта, Мертца и Хефтена. Гиммлер приказал вытащить из могил уже погребенных офицеров и сжечь их тела. А может быть, это был просто акт мести?

Ни следа не осталось и от Гиммлера, главного организатора «окончательного решения еврейского вопроса». После того как в британском лагере военнопленных в Люнебурге его опознали, Гиммлер покончил с собой. Его останки выбросили на помойку.

Не до конца ясно, что произошло с Гитлером. Считается, что после самоубийства его прах был развеян. Найдены только фрагменты челюсти. Но на многие вопросы еще предстоит ответить.

И уж совсем загадка, как оказались на кладбище у церкви Святой Елизаветы останки человека, который привел Гитлера к власти, бывшего фельдмаршала и рейхсканцлера Пауля фон Гинденбурга. Гинденбурга похоронили на национальном кладбище Танненберг в Восточной Пруссии. Когда Пруссию заняла Советская Армия, останки Гинденбурга и его жены (вначале она была похоронена в Ганновере, и только потом ее кости воссоединили с мужем) сбросили в соляную штольню в Тюрингии. Никому не известно, как они появились на кладбище в Марбурге, где могила Гинденбурга стала одной из самых примечательных. На этом кладбище какое-то время был захоронен Фридрих Великий и его отец. Их останки, спасая от Красной Армии, также перевезли через много промежуточных этапов из Потсдама в усыпальницу Гогенцоллернов, а в 1991 году снова вернули в Потсдам. С тех пор останки Фридриха покоятся, наконец, там, где он и завещал себя похоронить: «В Сан-суси, на высоте террас, в могиле, которую я велел выкопать для себя».

Сталина также потревожили и извлекли из Мавзолея согласно решению XXII съезда партии. Ночью его тело вытащили из стеклянного саркофага, где с 1953 года он лежал рядом с Лениным, и похоронили у Кремлевской стены. Объяснение звучало так: «Ленин не должен лежать рядом со злодеем». Теперь уже пошли разговоры о Ленине: так ли уж ему спокойно лежать в Мавзолее? И дело не только в том, что изо дня в день на него глазают тысячи людей, но ведь от тела Ленина и осталось не так много. Сразу после смерти вождя мирового пролетариата мозг его по приказу Сталина был извлечен (при этом выяснилось, что половина мозга была разрушена в результате множественных инсультов), микротомом с него снято тридцать четыре тысячи срезов, которые отданы на исследование в специально учрежденный научный институт.

Альберт Эйнштейн подозревал, что его телом начнут манипулировать и, чтобы избежать это, велел сжечь себя и прах опустить в реку. Роберт Музиль завещал развеять его прах по лесу (такая традиция всегда существовала в его

семье). Циник Шоу распорядился, чтобы его прах смешали с прахом его жены и закопали в саду. Фридрих Энгельс был решительно против всякого обожествления. Он тоже распорядился сжечь свое тело, а урну с прахом опустить в море.

Долго пришлось ждать, пока их тело найдет последнее пристанище, Декарту, Наполеону и его сыну герцогу Рейхштадскому. Декарт, французский философ и математик, известный, помимо прочего, афоризмом «Я думаю, значит, я существую», приехал в Швецию по приглашению королевы Кристины. Здесь он заболел и умер в 1650 году. Декарта похоронили в Стокгольме. Через шестнадцать лет друзья перевезли тело Декарта в медном гробу в Париж.

Во время Великой Французской революции велись длительные дебаты, не следует ли причислить Декарта к великим людям французской нации и похоронить его в Пантеоне. Остановились на Елисейском саду, но и тут Декарта не оставили в покое. В 1819 году его останки еще раз перенесли, на этот раз в часовню Сакра-Кёр в Сен-Жермен-де-Пре.

Что касается Наполеона, то в 1821 году его похоронили на острове Святой Елены. Через девятнадцать лет останки перевезли во Францию. И ровно через сто лет Гитлер сделал своему союзнику Петену и побежденной Франции царский подарок — в Париж к отцу перенесли останки сына Наполеона герцога Рейхштадского. Он родился и жил в Вене, и жители города не хотели расставаться с телом герцога, несмотря на все просьбы французов. Впрочем, сердце и органы герцога остались в Вене: сердце — в часовне Лоретто при церкви Св. Августина, сосуд с внутренними органами — в соборе Св. Стефана. В 1969 году саркофаг сына Наполеона и дочери австрийского императора Марии Луизы еще раз переместили — из боковой часовни в нижний этаж, где покоится в порфириновом саркофаге тело его отца.

Герцог Рейхштадский сотню лет пролежал в могиле на кладбище капуцинов в Вене. Некогда возле нее подолгу стояла тридцатисемилетняя императрица Мария Терезия,

Она распорядилась изготовить для себя и своего любимого мужа Франца роскошный двойной саркофаг. Мечтательно глядя на роскошную деревянную резьбу, украшающую свинцовую гробницу, императрица как-то промолвила: «Здесь можно будет хорошо отдохнуть!»

«Францль», который обманывал Марию Терезию бесчисленное количество раз и от которого она родила шестнадцать детей, оказался в могиле намного раньше своей супруги. Когда его поместили в саркофаг, Мария Терезия могла больше не опасаться его неверности, она почти каждый день спускалась в гробницу и подолгу беседовала с прахом любимого мужа. С годами она становилась все более грузной и уже с трудом преодолевала ступеньки. Но она так дорожила возможностью посещать свою будущую усыпальницу, что распорядилась устроить лифт. Однажды лифт трижды застревал в шахте, и императрица расценила это как знак того, что дорогой Франц больше не хочет ее отпускать. И в самом деле, вскоре на восемьдесят третьем году жизни она умерла.

Пушкин тоже нередко задумывался о смерти, о погребении. «Когда рыли могилу для его матери в Святогорском монастыре, он смотрел на работу могильщиков и, любуясь песчаным, сухим грунтом, вспомнил о Войниче (так он звал иногда своего друга Нащокина), — вспоминала В. А. Нащокина. — Если он умрет, непременно его надо похоронить тут; земля прекрасная, ни червей, ни сырости, ни глины, как покойно ему будет здесь лежать».

А вот герцогиню Софью фон Хоэнберг в усыпальницу капуцинов не допустили. Она была женой наследника австрийского престола эрцгерцога Фердинанда и погибла вместе с ним от пуль террориста. Но герцогиню считали недостойной будущего императора, свадьба состоялась вопреки воле императора Франца Иосифа. Эрцгерцогу пришлось согласиться на то, что Софья никогда не станет эрцгерцогиней, никогда не будет коронована и что ее дети не будут претендовать на австрийский престол. Франц Фердинанд выбрал для себя и жены усыпальницу в Арштеттене, там они и покоятся вместе.

Сколько, право, разговоров о наследовании престолов, ушедших в небытие в Первой мировой войне!

Другому наследнику престола Рудольфу и его возлюбленной баронессе Марии Вечере не разрешили и этого. Они оба ушли из жизни в Мейрингене. Но если труп наследника перевезли в Гофбург, то тело баронессы оставалось еще некоторое время на месте трагического происшествия. Сохранился официальный протокол, в котором говорится: «На левом виске имеется пулевое отверстие, выходящее за правым ухом. Труп находится в том же положении, в каком он лежал рядом с трупом кронпринца. Глаза открыты и остекленели. Из полуоткрытого рта выходит засохшая струйка крови. Руки согнуты и вытянуты вперед, в левой руке зажат платок, который удалось извлечь с большим трудом».

В другом сообщении говорится: «Тело несчастной баронессы Вечеры, завернутое в одни только меха, перевезли на фиакре из Майерлинга в пансион Святого Креста, и там захоронили».

Через двадцать девять лет после этого события тело еще одной коронованной особы не похоронили, а уничтожили. Русский император Николай II вместе с женой, дочерьми, четырнадцатилетним наследником и домочадцами был расстрелян в ночь с 16 на 17 июля красноармейцами.

«Из бельевого шкафа, — вспоминает очевидец, — взяли несколько простыней, привязали их к двум оглоблям, которые притащили из конюшни, и трупы унесли на таких импровизированных носилках. Простыни тут же пропитались кровью, которая постоянно капала на пол комнаты, на лестницу, на землю во дворе».

Снаружи ждал грузовик. «На полу расстелили кусок шинельного сукна, и трупы побросали на него, как дрова, а сверху прикрыли другим куском сукна. Работа, продолжавшаяся не более сорока минут при свете фонарей, сопровождалась пошлыми шуточками и бранью...»

Грузовик выехал из города в сторону заброшенной каменоломни, там трупы положили в яму, чтобы на следующий день уничтожить. В отчете судебного следствия гово-



рится: «17 июля в аптеке «Русского общества» в Екатеринбурге появился представитель большевистского комиссара с приказом: «Подателю сего немедленно выдать 80 литров серной кислоты». Вечером он появился с приказом выдать еще три бутылки, всего на дело пошло сто девяносто литров серной кислоты. Следствие показало, что бутылки с серной кислотой были уложены в ящики и доставлены в каменоломню.

В июле 1991 года останки императора, членов его семьи и его приближенных были найдены и идентифицированы. 17 июля 1998 года их похоронили в усыпальнице Романовых в соборе Петропавловской крепости.

К тому моменту, когда убили последних Романовых (мы не будем останавливаться на загадочной судьбе дочери Анастасии) и уничтожили их тела, на полях сражений Первой мировой войны были уничтожены миллионы людей, и об их телах не позаботился никто. А сколько людей погибло в других войнах и революциях!

Как тут не вспомнить оптимистическую фразу такого закоренелого пессимиста, как Шопенгауэра. В завещании он просил похоронить его в большом дубовом гробу, а на могилу поставить гранитный камень размером 4×5 футов. На нем должны были быть выбиты только два слова: «Артур Шопенгауэр».

«И, пожалуйста, больше ничего — ни дат, ни чисел, ни единой строчки». А на вопрос, где же его похоронить, Шопенгауэр ответил: «Какая разница? Надо будет — найдут!»

## БЕСПЕЧНЫЕ ОТЦЫ, ПЛОХИЕ МУЖЬЯ, СКВЕРНЫЕ СЕМЬЯНИНЫ

«Папой статья — совсем пустяк, быть отцом — не просто так», — такие немудрящие стишки срифмовал как-то художник и поэт Вильгельм Буш, и мысль эта актуальна и по сей день. Что бы ни приключилось с детьми и подростками — хулиганят ли они в школе, выбирают ли кривую дорожку и становятся в конце концов преступниками, — ответственность всегда лежит на родителях. По крайней мере так утверждают психологи и психиатры. Связь поведения ребенка с поведением родителей самая непосредственная: если дети ведут себя неподобающим образом, если у них возникают комплексы — а у кого из детей их нет?! — если в их поведении имеются отклонения, значит, родители заботились о них или недостаточно или чрезмерно.

Придерживаться золотой середины очень трудно, и поэтому придется, пожалуй, согласиться с французским писателем Жаном Полем Сартром, который полагал, что ему повезло, что он рос без отца. «Хороших отцов не бывает — таков закон, — говорит Сартр, — мужчины тут ни при чем — прогнали узы отцовства. Сделать ребенка — к вашим услугам; иметь детей — за какие грехи? Останься отец в живых, он повис бы на мне всей своей тяжестью и раздавил бы меня. По счастью, я лишился его во младенчестве».

В автобиографическом произведении Сартр так обосновывает свою точку зрения: «Будь у меня отец, он обеспечил бы меня бременем устойчивых предрассудков. Внедрившись в мое «я», он обратил бы свои прихоти в мои

устой, свое невежество в мою эрудицию, свою ущемленность в мое самолюбие, свои причуды в мои заповеди»<sup>1</sup>.

Ссылаясь на Фрейда, Сартр приходит к выводу: «...я обеими руками готов подписаться под заключением известного психоаналитика: мне неведом комплекс «сверх-я». Не будем вдаваться в вопрос, какого мнения придерживался бы Сартр, если бы у него были дети, как и в вопрос, почему у него их не было. Возможно, всю жизнь Сартру хватало самого себя, как и другому эгоцентрику Альбрехту Дюреру. И Сартр, и Дюрер уже в детстве выказывали поразительный интерес к собственной персоне, к тому, как они выглядят, как ведут себя. Всю жизнь в центре всего происходящего для них стояло собственное «я». Любопытно, что Дюрер, который в тридцать лет считал себя гением, а в пятьдесят — почти богом, вел подробный дневник, в который заносил все, что казалось ему интересным, что радовало его или, наоборот, огорчало, и при этом он ни словом не обмолвился о том, что у него с женой не было детей. Видимо, проблема потомства его абсолютно не волновала.

Еще более выраженным, прямо-таки законченным эгоцентриком был бездетный Дали, который также считал себя гением и интересовался только собственной персоной да еще женой Галá, да и то потому только, что считал ее частью себя самого. «Я очень забочусь о своем здоровье и делаю все возможное, чтобы сохранить жизнь в самом выдающемся на свете создании, т. е. во мне самом», — писал он.

Эгоцентризм Дали носил явно патологический характер. В пятьдесят лет он записывает в «Дневнике одного гения»: «Каждое утро при пробуждении я испытываю высочайшее наслаждение, в котором лишь сегодня впервые отдаю себе отчет: это наслаждение быть Сальвадором Дали, и в полном восхищении я задаю себе вопрос, какими же еще чудесами он нынче подивит мир, этот самый Сальвадор Дали. И с каждым новым днем мне все труднее и труднее понять, как могут жить другие, если им не выпало счастья родиться Галá или Сальвадором Дали».

---

<sup>1</sup> «Слово». М., 1966. Перевод Л. Зониной и Ю. Яхниной.

Кроме себя самого, ему нужна была только Галá , впрочем, лишь как средство утверждения своей гениальности: «Вечером Галá приходит в восторг от моих картин. Я ложусь спать счастливым... Спасибо, Галá! Это ведь благодаря тебе я стал художником. Без тебя я не поверил бы в свои дарования!»

Дети при этом были совершенно неуместны, они просто мешали бы, о чем Дали не замедлил высказаться: «Я не люблю ни детей, ни животных. Они все время спуют, куда-то несутся. Движение вокруг меня внушает мне чувство страха. Дети нравятся мне, когда они становятся «эротичными», т. е. приобретают определенную красоту. Новорожденных и грудных младенцев с их непропорционально маленьким тельцем и большой головой я нахожу отталкивающими и ужасными. Они слишком напоминают эмбрион, которым они недавно были, и стариков, которыми они станут, а все, что напоминает о начале или конце, наполняет меня непереносимым омерзением». И затем следует решающая фраза, которая выражает суть проблемы: Дали не уверен, что дети нашли бы его гениальным: «В них чувствуется присутствие абсолютно иного интеллекта, совершенно не похожего на взрослый».

То, что для Дали выростало в экзистенциальную проблему, для Жан-Жака Руссо было банальным вопросом семейного бюджета. Впрочем, когда он отказывался от детей, за этим, возможно, что-то крылось, ведь он не лишал себя удовольствия производить их на свет. После весьма бурного и несчастливого детства — мать умерла через несколько дней после рождения сына, а отец бросил десятилетнего мальчика на произвол судьбы, в юности Руссо перепробовал множество профессий. Он был часовщиком и гравером, учителем музыки и переписчиком нот, композитором, лакеем, мажордомом, секретарем. В возрасте тридцати одного года он встретил Терезу Левассер, «обаятельную, простую и чуждую всякой корысти девушку». Он влюбился в Терезу, хотя она не умела ни читать, ни писать, более того, Руссо вскоре обнаружил, что даже определять время по циферблату часов для нее мука мученическая. Он

называл ее «глупой особой», но как раз это и нравилось рафинированному эстету Руссо, ее душа казалась ему «нетронутой природой». Он решил жить с ней, но в брак не вступать: «Я ей сразу сказал, что никогда не брошу ее, но никогда и не женюсь».

Жизнь с Терезой началась в 1745 году в Париже. Руссо писал: «Наша сладкая совместная жизнь заменяет мне все. Будущее меня совершенно не волнует, разве только как продленное настоящее, ведь мне ничего другого и не надо, кроме как продлить то, что я имею сейчас». Любовь к Терезе оказала самое благотворное влияние на его творчество. Меньше чем за три месяца Руссо написал оперу, которая, впрочем, не пользовалась ни малейшим успехом. Однако опера стала не единственным плодом их «сладких отношений». Несколько позже появился еще один их результат, который поставил перед любовной парочкой совсем иные проблемы. Это был сын, которого Тереза произвела на свет к концу следующего года. Руссо писал: «Это обстоятельство привело меня в крайнее замешательство, хорошо, что мои сотрапезники — а обедал я всегда в одной и той же таверне — подсказали мне единственно верное решение: отдать дитя в приют для найденьшей».

Для Парижа того времени такой выход был в порядке вещей. Согласно архивным записям, с 1740 по 1749 гг. во французской столице в приюты было сдано 32 917 детей, т. е. больше чем по три тысячи в год. А в следующее десятилетие эта цифра увеличилась вдвое — 67 тысяч беспризорных. Приюты в то время существовали по всей Европе, их создавали специально для нежеланных, чаще всего внебрачных детей, чтобы затем найти для них приемных родителей. Руссо «без малейших колебаний» решил воспользоваться услугами такого приюта. Тереза возражала, но Руссо удалось убедить ее не без помощи Терезиной мамы: «Мне стоило огромного труда воспользоваться этим единственным способом спасти ее честь. Мать Терезы пришла в панику от перспективы, что ей придется взять на себя заботу о ребенке, и помогла мне уговорить Терезу».

Но через год та же проблема возникла снова. Вновь дитя, вновь пополнение в приюте. Когда Руссо было тридцать восемь лет, на свет появился третий ребенок. Руссо по-прежнему считал, что материальные возможности не позволяют ему содержать ребенка, и он в третий раз уговаривает Терезу отказаться от плода их любви.

Как раз в это время Руссо пишет трактат на предложенную Дижонской академией тему: «Способствует ли прогресс науки и искусства улучшению нравов общества?» В 1750 году сочинение Руссо получило первую премию, было опубликовано и принесло ему славу. Однако личность Руссо вызывает подозрение властей, и он подвергается гонениям. Ничего не поделаешь, великому мыслителю просто не дают спокойно заняться воспитанием детей, и он вынужден сдать в приют четвертого, а вслед за ним и пятого ребенка. В романе «Эмиль, или О воспитании», в котором он излагает принципы «естественного воспитания», Руссо пишет: «Кто не может исполнять отцовского долга, тот не имеет права становиться отцом. Ни бедность, ни работа, ни прочие обстоятельства не снимают с него ответственности за пропитание и воспитание собственных детей».

Это утверждение находилось в столь вопиющем противоречии с собственной практикой, что была даже выдвинута теория, что Руссо был импотентом, и историю о пяти детях он придумал, чтобы утвердиться в своем мужском достоинстве, либо Тереза родила пятерых детей не от него, а от другого мужчины, и философ не испытывал никаких моральных мук, отдавая их на сторону. Однако нет ни малейших доказательств в пользу таких предположений, напротив, все свидетельствует о том, что это его дети. Вот, например, письмо Руссо жене одного из своих приятелей:

«Вы знаете, мадам, мое бедственное положение, я с трудом зарабатываю на хлеб насущный. Как же мне еще и кормить семью? И как бы я мог заниматься писательским трудом, если бы домашние хлопоты и галдящие дети лишали меня покоя, необходимого для успешной работы? Произведения, продиктованные голодом, не очень доходны; поэтому, чтобы мало-мальски поддержать свое существование,

пришлось прибегнуть к интриге, к обману, искать пусть зависимого, но приносящего доход положения, короче говоря, я вынужден был идти на разные низости, которые мне самому противны. Давать пропитание себе самому, своим детям и их матери кровью несчастного? Нет, увольте. Я думаю, мадам, пусть лучше они будут сиротами, чем детьми проходимца».

Руссо, существовавший на подачки богатых меценатов, не нашел ничего лучшего, как перейти в наступление и обвинить их в своем жалком положении: «Нельзя производить детей, если не можешь их прокормить! Мадам, земля рождает достаточно, чтобы прокормить всех; но богатые отнимают хлеб у моих детей, чтобы отдать его своим». В заключение Руссо ссылается на Платона, который в своем «идеальном государстве» забирал детей у родителей и отдавал их на воспитание государству: «Пусть никто не знает своего отца, пусть все будут детьми государства. Я был лишен сладостного чувства обнять собственных детей. Пусть у меня есть основание жаловаться на свою горькую судьбу, зато дети мои не будут жаловаться на нужду. Следуя предрассудкам нашего времени, Вы, мадам, считаете дурным следствием порока то, что на самом деле является оборотной стороной бедности».

Когда Руссо исполнилось пятьдесят лет и он почувствовал, что болезнь приближает его к смерти, он писал герцогине Люксембургской об «угрызениях совести», когда он вспоминает, что отдал детей в приют, даже не позаботившись о том, как их снова разыскать; «к моему и их матери глубокому сожалению, я умру, не имея возможности исправить свою ошибку».

Получилось так, что мы судим о всей этой истории лишь по словам Руссо, мы не знаем, что думают по этому поводу его дети или Тереза, на которой он все-таки женился в возрасте пятидесяти шести лет. К тому же — и это самое главное — он гений и заведомо считает всех прочих людей как бы приложением к себе, другими словами, убежден, что все должны потакать и служить его интересам. А между тем существует и другая сторона, на которой, как правило, не останав-

ливаются, когда речь идет о великих мира сего; мы имеем в виду тех, кто остается в тени, которых используют, эксплуатируют, приносят в жертву. Было бы неверно рассматривать обе стороны порознь, они слиты друг с другом и взаимосвязаны. Руссо, скажем, иногда казалось, что Тереза и ее семья, которая порой жила в том же доме, эксплуатируют его. Такое же чувство испытывал Гете по отношению к семейному клану Христианы. Руссо пишет: «Время уходит, и с ним уходят деньги. Нас было двое, нас было четверо, а если точнее, то нас было и семеро, и восьмеро, и, хотя Тереза отличается редким бескорыстием, о матушке ее этого не скажешь. Как только та увидела, что может рассчитывать на мою поддержку, как тут же заполонила мой дом своими домочадцами, чтобы и они погрелись на солнышке, — сестрами, сыновьями, внуками, кого там только не было».

Обе стороны достойны внимания и тогда, когда мы думаем о Поле Гогене. Трудно с уверенностью сказать, кто кого принес в жертву: художник или его жена. Некоторые считают Гогена, который оставил жену и пятерых детей, чтобы полностью посвятить себя живописи, законченным эгоистом, но большинство обвиняет жену, потому что она не проявила никакого сочувствия и понимания к творчеству великого живописца, каким является ее муж. Сегодня, когда Гоген признан выдающимся мастером, правота, кажется, на его стороне. Но ведь дело выглядело совсем иначе сто лет назад, когда «воскресный живописец» впервые выставил свои работы, которые никого не заинтересовали, и тем не менее он все же решил бросить все и заняться живописью.

Когда двадцатипятилетний Поль Гоген женился в 1873 году на молодой датчанке Метте Софи Гад, которая жила в Париже уроками языка, он был преуспевающим биржевым маклером. До этого в семнадцать лет он поступил на флот и плавал шесть лет, последние три года матросом на французских военных кораблях. Первый сын Эмиль появляется на свет в августе 1874 года, через три года рождается дочь Алина. Гоген уже делает первые попытки рисовать, но занимается живописью только по воскресеньям как заурядный дилетант. Свою первую работу он посылает



на выставку в 1876 году. Еще через три года, когда в доме появляется третий ребенок — Кловис, он участвует в 4-й выставке импрессионистов, на которую посылает статуэтку. На 5-й выставке в следующем году Гоген уже представлен семью картинами и бюстом. И еще через год, в 1881 году, когда у Метте рождается четвертый ребенок, Гоген принимает решение оставить работу на бирже, которая приносила ему приличный доход, и целиком заняться живописью. «Теперь я буду писать каждый день».

Когда Гоген принял это решение, он был уверен, что за короткое время добьется известности. Он недооценил трудностей, которые его поджидали, и конечно же никак не думал, что пройдет много лет, пока люди начнут гоняться за его картинами, и что сам он до этого времени не доживет. Следует учесть еще одно обстоятельство: для Метте его решение было абсолютно неожиданным, она восприняла его как гром с ясного неба. У нее были все основания считать его мазню увлечением обеспеченного человека, воскресным хобби. Ей и в голову не приходило, что Поль, который в последние годы получал в год до сорока тысяч франков, внезапно захочет круто изменить свою жизнь и тем самым подвергнуть опасности жизнь жены и детей. Поль даже намеком не упоминал о такой возможности.

Стоит ли удивляться, что она сочла его безумцем? Она ведь видела, что не только картины Гогена, но и других импрессионистов, с которыми он завел знакомство, наталкиваются на непонимание и насмешки. В чем только не обвиняли Метте: и в бесчувственности, и в мещанстве, и в том, что она была лишь матерью, а не женой. Ее сравнивали с супругами других художников: другие жены понимали своих великих мужей, жертвовали своими удобствами и были готовы делить их бедность.

Но что было делать Метте? Через десять месяцев после того, как Гоген оставил службу, рождается пятый ребенок, Гоген перевозит семью из Парижа в Руан, где жизнь заметно дешевле. Хотя они отказывают себе во всем, заработанных денег с трудом хватает на два года. Ни одной из множества написанных картин не продано.

Гогену не остается ничего другого, как отказаться от дома в Руане и переехать с Метте и детьми к ее родителям в Копенгаген. Метте уехала раньше с тремя детьми, потом с двумя старшими собирается в дорогу и Гоген. Незадолго до отъезда он получает письмо от Камилла Писарро: «Учтите, Гоген, что я занимаюсь живописью тридцать лет и не лишен определенного таланта и навыка, но по-прежнему сижу на мели. Имейте это в виду. Живопись кормит плохо».

Для переезда в Копенгаген Гоген вынужден был продать за полцены свою страховку. Он не собирался оставлять живопись, но в качестве побочного приработка взялся представлять в Дании французскую мануфактуру, которая производила маркизы и непромокаемые навесы. Семья жены приняла его очень холодно, а представительство, несмотря на все усилия художника, никаких доходов не принесло.

Положение становилось просто невыносимым, тем более что датчане вообще не видели в живописных изысках Гогена какого-либо смысла. Он пишет в мае 1885 года другу Эмилю Шуффенекеру: «Вот уже полгода, как не с кем словом перекинуться. Полнейшее одиночество, ну а с точки зрения семьи я чудовище, потому что не зарабатываю денег, — в наше время в почете только тот, кто преуспевает. Метте не слишком любезна. Нужда сделала ее желчной, ударив особенно по тщеславию (в стране, где все друг друга знают), и все ее упреки обрушиваются на меня»<sup>1</sup>.

Метте зарабатывала уроками французского. В одном письме, адресованном тому же Шуффенекеру, она подытоживает: «Нет, Шуфф., на него надеяться нечего, он думает только о себе и своем благополучии. Его просто распирает сознание собственного величия. Его совершенно не трогает, что детей кормят родственники и друзья его жены, он и слышать об этом не хочет».

К этому времени супруги уже несколько лет жили порознь. Летом 1885 года Гоген с сыном Кловисом вернулся во Францию. Супруги не считали, что разлучаются навсегда, Гоген надеялся — и не оставил этой надежды до

---

<sup>1</sup> Г о г е н П. Письма. Л., 1968. Перевод Н. Рыковой.

самой смерти, — что когда-нибудь заработает своими картинами столько денег, что семья сможет вернуться к нему. Он продал все, кроме собрания живописи импрессионистов, в котором были полотна Писарро, Моне, Ренуара, Сислея и других. В 1885 году он оценивал свою коллекцию в пятнадцать тысяч франков, но в те годы продавать импрессионистов было дело неприбыльное.

Гоген, можно сказать, перебивался с хлеба на воду. Когда шестилетний Кловис заболел, стало особенно очевидным, насколько безрассудно было решение Гогена взять его с собой. Но Метте он пишет: «Необходимость становится законом. Иногда она заставляет человека выходить за рамки, которые навязывает ему общество. Когда малыш заболел ветряной оспой, у меня в кармане было двадцать сантимов, и мы уже три дня ели один черствый хлеб, да и то в кредит.

Совершенно обезумев, я решил обратиться в одно предприятие по расклейке афиш на вокзалах и просить работы в качестве расклейщика. Увидев, что я одет как буржуа, директор рассмеялся, но я сказал ему очень серьезно, что у меня болен ребенок и мне нужна работа. И вот стал расклеивать афиши за пять франков в день, а Кловис лежал в жару, запертый в комнате до вечера, когда я возвращался ухаживать за ним. Эта работа продолжалась три недели...»

Но Поль тем не менее не хотел расставаться с сыном: «Не беспокойся о малыше, он поправляется, и я не думаю отсылать его к тебе, напротив, рассчитываю по мере улучшения моего дела с афишами забрать и других детей. Это мое право, ты сама знаешь».

Чем хуже шли дела у Гогена, тем чаще он упрекал жену, что ей живется лучше: «Я принуждаю себя разделить твое мнение, но признаюсь — не вижу, чтобы дела твои были так уж плохи. Ты живешь в своем доме, обставленном вполне прилично, окруженная своими детьми, работаешь усиленно, но занята тем, что тебе по вкусу, видишься с людьми, и поскольку тебе приятно в обществе женщин и твоих соотечественников, ты можешь порою чувствовать себя вполне удовлетворенной... Я же из своего дома изгнан, живу где попало, среди голых стен, никого кругом нет».

Когда Метте пожаловалась, что заболела и вынуждена лежать в постели, он дает ей совет: «Не распускайся», и тут же переходит к своему собственному, куда более плачевному положению: «Представляю, как бы ты запела, если бы у тебя не было собственной квартиры!» В следующем письме Метте сообщает, какую болезнь у нее предполагают. Гоген отвечает: «Что ты там рассказываешь? Опухоль на груди? Это, действительно, было бы большой неприятностью. Твой двоюродный брат — хороший врач, ты должна его распросить, может быть, это раковая опухоль. Ты, главное, не бойся операции, иначе будет еще хуже. Если бы я мог лечь под нож вместо тебя, я бы это сделал, несмотря на все, что ты мне причинила...» Гоген пишет, что очень беспокоится за жену, и тут же вновь возвращается к себе: «Я теперь вешу меньше тебя. Я высох, как вобла».

Переписка между ними (впрочем, сохранились в основном письма Гогена) указывает на то, что они все еще были привязаны друг к другу, несмотря на взаимные упреки в безжалостности. Гоген еще несколько раз поменял место жительства и наконец покинул Европу и отправился на острова Тихого океана. Потом он вернулся во Францию, но в 1895 году окончательно покинул Старый Свет. К этому времени к его картинам возникает интерес, но торговцы, через которых он их сбывал, беззащитно пользовались стесненным материальным положением художника. Например, за большое полотно, которое торговец продал за десять тысяч франков, он получил всего две тысячи. За небольшие работы, которые покупали по тысяче, Гогену доставалось сто, в лучшем случае сто пятьдесят франков. Часть картин он переслал Метте, и она продавала их в Дании. С помощью Шуффенекера Метте перевезла и коллекцию импрессионистов и постепенно распродала ее, впрочем, тоже без большой прибыли.

У них снова и снова возникали споры, главным образом из-за денег. Конец их отношениям положило наследство, которое Гоген получил после смерти дяди. Это случилось в 1895 году после первой поездки Гогена в Южные моря. Наследство составляло примерно тринадцать — пятнад-

цать тысяч франков. На эти деньги художник устроил себе ателье в Париже, где и жил с любовницей-яванкой. Нередко он закатывал пирушки для друзей.

Метте, которой он послал всего полторы тысячи, жалуется Шуффенекеру: «Я просто из себя выхожу... Ему предстоит получить пятнадцать тысяч франков, и он еще спрашивает, не пришлю ли я ему немного денег. Несколько сотен крон, которые я выручила за его картины, ушли на различные непредвиденные (а точнее, вполне предвиденные) расходы: школа для Эмиля, платье для поездки и т. п. Господь свидетель — у меня нет ни су. Воистину это было бы верхом самопожертвования с моей стороны пропускать мимо ушей его требования прислать ему денег, когда он сам ожидает наследство от дяди. Мы оба хорошо знаем, что он позволил себе прогулку на Таити за счет продажи картин. И я молчала! А теперь я и слова не могу сказать, что претендую хотя бы на часть наследства. Я позволила себе указать ему на недопустимость такого поведения...»

Гогену конечно же ситуация представлялась в ином свете. Три года спустя в письме к другу он поясняет, как ошибочно считать Метте несчастной страдальцей, как это представляет Шуффенекер: «Он всегда питал к ней слабость. А от многих знакомых в Дании до меня доходят вести, что она вполне счастлива. Живет как ей заблагорассудится, она просто избалована и изнежена. Пока я перебиваюсь с хлеба на воду, она вовсе не без средств. Если бы я послал ей из тринадцати тысяч франков моего дяди не полторы тысячи, а шесть, как она требовала, что стало бы со мной? Я ведь совсем на мели, мне куска хлеба не на что купить, ведь никто не берет моих полотен. А жена между тем весьма прибыльно продает их и намазывает на хлеб масло. Вот как обстоят дела!»

В 1898 году умирает дочь Алина, через два года Кловис. Метте, которая не знала адреса Гогена, пишет Шуффенекеру: «Мой бедный Кловис умер! Ему был двадцать один год. Вы знаете, три года назад он попал в катастрофу и потерял подвижность суставов. Думали, что поможет операция, но через две недели он умер от заражения крови. Под ударами судьбы мне остаются только слезы. Второй раз я теряю

уже взрослого ребенка, и это оставляет в моей душе зияющую пустоту. Со мной остались лишь двое младшеньких Жан и Поль. Эмиль уехал вчера в Боготу, он бросил учебу. Мне так горько...

Дорогой друг, пришлите мне, пожалуйста, адрес Поля. Думаю, я должна написать ему, хотя это очень трудно. Всякий раз, когда я думаю о его безграничном эгоизме, возмущение переполняет мою душу. Мне выпало нести тяжелую ношу, я одна перенесла все тяжести и беды. Куда ему писать?»

Поль Гоген умер через три года после смерти Кловиса. Последнее время он очень страдал от последствий сифилиса. Метте пережила его на семнадцать лет. Незадолго до смерти она передала Полю письма отца и сказала: «Прочти их. Ты поймешь из них, какой он был, и, если найдешь нужным, можешь опубликовать. Твой отец был сильным человеком — и по темпераменту, и по поступкам. Он не был ни злым, ни подозрительным. Может быть, немного беззаботным, потому что был честным и действовал согласно своим убеждениям. Но он всегда был выдержанным и последовательным и никогда не впадал в фанатизм. Я не верила, что он станет художником, а теперь вижу, что он был прав. И все же никто не осудит меня, что я не осталась с ним, чтобы рожать и рожать детей, когда жизнь его представлялась мне безнадежной и бессмысленной авантюрой».

Поль Гоген жил, как хотел, иногда его спутницами становились женщины, рожавшие ему детей. Не будем сейчас спорить, была ли Метте Софи Гад узколобой, бесчувственной мещанкой. Так или иначе, у нее хватило мужества и силы воли устроить, насколько это было возможно, свою жизнь и жизнь своих детей. Многого она оказалась лишена, и это уж вина Гогена, может быть, его трагедия. За несколько лет до смерти он пишет: «Я опускаюсь на колени и смиряю всю свою гордыню. Я проиграл во всем».

Гоген написал эти строчки в 1896 году. Как раз в это время в английской тюрьме сидит блестящий английский писатель Оскар Уайльд, также оставивший жену и детей, но не ради искусства, а побуждаемый лишь эгоистической погоней за наслаждениями. Цель жизни, как говорит герой

его романа «Портрет Дориана Грея» лорд Генри Уоттон, выразитель идей автора, — «самовыражение. Проявить во всей полноте свою сущность — вот для чего мы живем». «Я должен любить и быть любимым, не важно, какую цену за это придется заплатить», — писал Оскар Уайльд, и цена, которую заплатил сорокалетний писатель, осужденный за гомосексуальную связь с юным лордом Дугласом, была немалой: тюрьма, голод, бессонница, болезнь, физические и нравственные лишения. Современная пенитенциарная система, считал Уайльд, ставит перед собой задачу подавить и уничтожить умственные способности заключенного.

Мечты и свет прошедших лет  
Убьет тюремный смрад,  
Там для преступных, подлых дел  
Он благостен стократ,  
Где боль и мука у ворот  
Как сторожа стоят.  
Одних тюрьма свела с ума,  
В других убила стыд,  
Там бьют детей, там ждут смертей,  
Там справедливость спит,  
Там человеческий закон  
Слезами слабых сыт<sup>1</sup>.

Это отрывок из «Баллады Рэдингской тюрьмы», отразившей двухлетний опыт заключенного поэта.

Оскар Уайльд постоянно шокировал общество своими взглядами, произведениями, одеждой, прической, загулами. Этот эстет хотел отведать плодов со всех деревьев в мире. Но цена, которую он заплатил за свободу жить по своему вкусу, оказалась непомерной — приговор суда не только лишил Уайльда свободы, но и денег и общественного положения. К тому же пострадал не только сам поэт, но и его жена и дети, хотя в биографиях писателя это практически не отражается.

Тридцатилетний Уайльд познакомился с «серьезной, стройной, маленькой Артемидой, с глазами василькового цвета и

---

<sup>1</sup>Перевод Н. Воронель.

каштановыми волосами, которые венком обвивали ее голову. Ее руки цвета слоновой кости извлекали из рояля такие волшебные звуки, что птицы переставали петь, чтобы послушать эту музыку». Констанция Ллойд было двадцать шесть лет, она была родом из преуспевающей семьи юристов. Отец умер за десять лет до свадьбы дочери, мать вновь вышла замуж, и Констанция жила с бабушкой. Когда она вышла замуж за Уайльда, денег у молодых было немного (Констанция только впоследствии получила наследство от деда), и молодая женщина придумывала разные способы пополнения домашнего бюджета. «Я собираюсь, — писала она родственникам, — стать корреспондентом какой-нибудь газеты или пойти на сцену. Что вы думаете по этому поводу? Я хотела бы зарабатывать. Может быть, написать роман?»

Позже найдутся люди, которые станут утверждать, что Уайльд женился ради ожидаемого наследства, но многое говорит за то, что молодые были в самом деле влюблены друг в друга, даже «безнадежно влюблены», как писал Уайльд одному из своих друзей. Молодой супруг жаловался, как ужасно быть в отлучке, хотя они и посылали друг другу телеграммы по два раза в день, и он мчался из самых удаленных уголков земли, чтобы увидеть ее хотя бы на час.

Через год после свадьбы у молодых родился первый сын Сирил, который был любимцем родителей, по крайней мере по утверждению второго сына Вивиана, родившегося через семнадцать месяцев. Вивиан рассказывает, что Уайльд был очень хорошим отцом, он баловал детей, много играл с ними, таскал на закорках и рассказывал интереснейшие истории. Оскар Уайльд вообще любил детей. В Рэдингской тюрьме он заступился за двух подростков, которых посадили за кражу кроликов. Он заплатил за них штраф, и их выпустили. Впоследствии Уайльд написал гневную статью, обличавшую судебное преследование детей: «Обращение с детьми ужасное, детьми занимаются люди, которые не понимают особой психологии ребенка. Ребенок способен воспринять наказание, исходящее от отдельного человека, от родителей, от воспитателей, но не кару общества. Ему вообще невдомек, что такое общество».



Одним из самых тягостных лишений, которым писатель подвергся в тюрьме, была невозможность видеть сыновей. С женой он внутренне расстался уже давно. Процесс отчуждения начался вскоре после рождения Вивиана, когда Уайльд встретил юного Роберта Росса, с которым подружился и вступил в интимную связь. Он писал Россу из тюрьмы: «Супружеская жизнь надоела мне до чертиков».

Говорят, что красота Констанции намного превосходила ее ум, что ей не хватало юмора и что, хотя ее отличала надежность и верность, она не разбиралась в искусстве своего мужа. Биографы Уайльда отмечают, что ее покорность и безоговорочное согласие с его точкой зрения наскучили поэту. Вряд ли это соответствует действительности. Констанция весьма критически относилась к супругу. Она сравнивала его с персонажем детских стихов Шалтаем-Болтаем, который сидел на стене и свалился во сне.

«Вот так же, — пишет она, — и Оскар, который набивает себе шишки, но ничему не учится».

Констанция не стала разводиться с мужем, хотя общество посчитало его отношения с Альфредом Дугласом безнравственными. Вынося приговор, судья констатировал: «Преступление, в котором вы обвиняетесь, настолько тяжкое, что нужно изо всех сил сдерживаться, чтобы не дать волю чувствам, переполняющим каждого порядочного джентльмена. У людей, способных на такое, похоже, умерло всякое чувство стыда... Это самый ужасный процесс из всех, в каких мне довелось участвовать».

Как только Уайльд вышел из тюрьмы, он покинул Англию и поселился во Франции. Констанция выплачивала ему пенсию из своих денег. В сорок лет она умерла, а еще через два года и Уайльд ушел из жизни.

Женам гениев не позавидуешь, они обречены всю жизнь прозябать в тени выдающихся личностей. Яркий пример тому — брак Льва Толстого. Ему было тридцать четыре года, когда он женился на семнадцатилетней Софье Андреевне Берс, дочери кремлевского врача. Толстой, не завершив университетского курса, подался в офицеры. До того как заняться помещьем и земледелием, он вел разгульную жизнь,

свойственную молодым повесам в погонах. Когда он стал писателем, он выдвинул теорию, согласно которой нельзя ничего скрывать от жены, и дал почитать «Сонечке» свои дневники, в которых подробно описывались все его любовные похождения. Именно эти откровенные заметки стали «миной замедленного действия» в их позднейших напряженных отношениях и недоверии. Однако поначалу их брак был вполне удачным, супруги чувствовали себя счастливыми, особенно Толстой. «Счастье семейное поглощает меня все-го... Я ее все больше и больше люблю. Нынче 7-й месяц, и я испытываю давно не испытанное сначала чувство уничтожения перед ней. Она так невозможно чиста и хороша и цельна для меня». Софья Андреевна была, как она сама считала, «настоящей женой писателя». Она работала с Толстым, писала под его диктовку, переписывала его черновики набело, потому что только она была способна понять его скоропись и различные сокращения. При этом Толстой много раз вносил исправления, и она заново все перебеляла, пока муж не находил последний вариант хорошим. Рукопись «Войны и мира» Софья Андреевна переписывала семь раз!

Льву Николаевичу нравилось, что жена одновременно исполняет функции секретаря. Через год после женитьбы он пишет, что он доволен своей жизнью и как супруг, и как отец. Он больше не предается рефлексиям и не анализирует своих чувств. С него достаточно чувствовать, что он живет в кругу своей семьи, и на эту тему больше не нужно размышлять. Это делает дух необычайно здоровым, духовные и интеллектуальные силы находятся в полном его распоряжении и готовы к работе. Он целиком занят романом о времени с 1810 по 1812 год.

Роман «Война и мир» занял пять лет жизни писателя, и в нем уже нашло место первое прозрение по поводу семейной жизни. Мы видим его в размышлениях князя Андрея о Пьере Безухове. Но Лев Толстой поставил перед собой новую задачу, ему мало быть художником, ведь искусство — ложь. Толстой хочет напрямую служить народу. Он пишет поучительные народные истории и хочет жить как простой мужик. Жена этого не понимала:

«Он мне гадок со своим народом, — записывает она в своем дневнике еще в 1862 году. — Я чувствую, что или я, то есть я, пока представительница семьи, или народ с горячею любовью к нему... я вдруг почувствовала, что он и я по разным сторонам, то есть что его народ не может меня занимать всю, как его, а что его не может занимать всего я, как меня занимает он».

Как-то Толстой открыл для себя древнегреческий язык Гомера и «божественного» Ксенофонта. Он с таким увлечением взялся за изучение греческого, что даже заболел. Софья Андреевна упрекала его, что, если он и дальше будет трудиться над греками, он совсем разболеется. По ее мнению, древние греки внушают мужу страх и равнодушие к сегодняшней жизни. Мол, недаром греческий язык называют мертвым: он способен разрушить душу.

В один прекрасный день любовь к греческому утасла; Толстой приходит к убеждению, что благодать можно получить только от религии и набожной жизни. Однако и тут писатель не находит покоя, и Софья Андреевна к месту вспоминает его слова, что из-за недостатка веры впору повеситься. Но вот муж обрел веру, отчего же он все равно несчастлив? Одно время она сочла его увлечение религиозными трактатами болезнью и ждала, когда и эта болезнь пройдет.

Болезнь не проходила, отношения между супругами стали настолько напряженными, что они даже на время расстались. Толстой пишет: «Ты говоришь: я люблю тебя, но тебе моя любовь не нужна. Твоя любовь — единственное, что мне нужно... она радует меня больше всего на свете».

Она отвечает: «Как печально, что такой интеллектуальный потенциал уходит на рубку дров, починку обуви и разогревание самовара. Мне остается утешаться русской пословицей: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. А завершается письмо страстным объяснением в любви: «Внезапно ты предстал передо мной столь воочию, и я чувствую к тебе такую нежность! В тебе есть нечто такое мудрое, такое ребячливо простое, такое верное, и все это залито щедрой добротой, и этот взгляд, который проникает в самое сердце, и все это присуще только тебе».

Они снова соединились, но ничего хорошего из этого не вышло. Правда, Софья Андреевна по-прежнему переписывала его рукописи и управляла большим хозяйством, детей все прибывало: четверо, пятеро, шестеро, но непонимание углублялось все больше. Толстого больше всего раздражала роскошь, к которой привыкла жена и которая ей нравилась, более того, сам Толстой, который так стремился опроститься, вынужден был идти на компромиссы. Софью Андреевну обижали и оскорбляли некоторые места из произведений Толстого, в которых она видела реминесценции их собственной супружеской жизни, например, в «Крейцеровой сонате»: «Во мне... ненависть [к жене] часто кипела страшная! Я смотрел иногда, как она наливала чай, махала ногой или подносила ложку ко рту, шлюпала, втягивала в себя жидкость, и ненавидел ее именно за это, как за самый дурной поступок... Я еще не знал тогда, что 0,99 супружеств живут в таком же аду, как и я жил, и что это не может быть иначе. Тогда я еще не знал этого ни про других, ни про себя».

Софья Андреевна находила немало подобных мест, особенно в его дневниках, которые он давал ей переписывать (только в последние годы он стал утаивать от жены свои дневники). Вот ее реакция на одну из записей в его дневнике: «Дописала сегодня в дневниках Левочки до места, где говорит: *«Любви нет, есть плотская потребность общения и разумная потребность в подруге жизни»*. Да, если б я это его убеждение прочла 29 лет тому назад, я ни за что не вышла бы за него замуж».

Но в то же время в ее дневнике читаем такую запись: «Когда между женой гения и им существует настоящая любовь, как было между нами с Львом Николаевичем, то не нужно жене большого ума для понимания, нужен *инстинкт сердца*, чутье любви — и все будет понятно, и оба будут счастливы, как были мы. Я не замечала всю жизнь своего труда — служения гениальному мужу, и я почувствовала больше этот труд, когда после чтения дневников моего мужа я увидела, что для большей своей славы он всюду брал меня; ему нужно было *оправдать* как-то свою жизнь в роскоши (относительно) со мной. Это было в год смерти моего Ванеч-

ки, когда я огорченной душой больше примкнула к мужу — и жестоко разбилась сердцем и разочарованием в нем».

Через тридцать три года супружеской жизни Софья Андреевна пытается в письме урезонить мужа: «Почему всякий раз, когда ты упоминаешь в дневнике мое письмо, оно сопровождается такими нелестными эпитетами? Как ты можешь желать, чтобы грядущие поколения и наши собственные внуки клеймили бы мое имя как имя ненужной и злой женщины, которая сделала тебя несчастливym? ... Ты в самом деле полагаешь, что посмертная слава твоя уменьшится, если ты не будешь представлять меня мегерой, а себя самого — мучеником, распятом на кресте, имя которому — я?» Она вновь обращается к нему с просьбой вычеркнуть из дневника все злобные упоминания о ней — «это будет по-христиански».

И еще много лет они мучили друг друга. В одном из писем Толстого находим: «Возможно, вы не поверите, насколько мне одиноко, до какой степени мое истинное «я» презираемо всем моим окружением». Кончилось тем, что старик Толстой после сорока восьми лет супружеской жизни покинул жену и дом. 28 октября 1910 года в четыре утра восьмидесятидвухлетний Толстой пишет последнее письмо: «Отъезд мой огорчит тебя. Сожалею об этом, но пойми и поверь, что я не мог поступить иначе. Положение мое в доме становится невыносимым. Кроме всего другого, я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста: уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни.

Пожалуйста, пойми это и не ездь за мной, если и узнаешь, где я. Такой твой приезд только ухудшит твое и мое положение, но не изменит моего решения. Благодарю тебя за твою честную 48-летнюю жизнь со мной и прошу простить меня во всем, чем я был виноват перед тобой, так же как и я от всей души прощаю тебя во всем том, чем ты могла быть виновата передо мной. Советую тебе помириться с тем новым положением, в которое ставит тебя мой отъезд, не иметь против меня недоброго чувства».

Через несколько дней у Толстого внезапно поднялась температура. Это было воспаление легких, от которого он и умер 6 ноября 1910 года. За несколько недель до смерти жена написала ему письмо, заканчивающееся такими словами: «Что касается моей любви к тебе — причине всех моих поступков, включая самые ревнивые и бессмысленные, то эта любовь никогда не ослабевала, она будет жить во мне до конца моих дней...»

Некоторые полагают, что Толстой уже больным ушел из дома, другими словами, что он не вполне отдавал себе отчет в своих поступках. Но ведь это в конечном счете не важно. Ведь он не один раз думал о том, чтобы расстаться с Софьей Андреевной. С другой стороны, нет сомнений, что он ее любил. Возможно, ему хотелось, чтобы она была другой. Однажды Толстой с предельной четкостью выразил свое видение идеальной женщины. Смысл его — в воспевании материнства, созидательной работы женщины в тиши семейного очага. Женщина, по Толстому, должна быть для мужа опорой, а не препятствием, поскольку «только слепая неоплачиваемая жертва ради другого человека является ее призванием». В руках сердобольных женщин, считает писатель, исцеление мира!

Женщина, которая без колебаний жертвует собой ради мужа и детей, которая живет только для него и в нем, — этот мужской идеал женщины существует издревле и, наверное, будет греть мужские сердца всегда. Если внимательно вчитаться в Библию, мы увидим, что об этом мечтал уже Адам, более того, он реализовал свою мечту и тем самым стал образцом для всех мужчин. Его первая жена, которая, впрочем, упоминается всего один раз, была по видимому слишком независимой и самостоятельной, и это неудивительно, если вспомнить, как она появилась на свет. В отличие от Евы, она была создана одновременно с Адамом — в этом-то и весь фокус! В «Бытие» (Первая книга Моисея, глава 1, стихи 27 и 28) говорится: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их». И дальше: «И благославил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размно-

жайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, (и над зверями) и над птицами небесными, (и над всяким скотом, и над всею землею), и над всяким животным, пресмыкающимся по земле».

Эта первая жена Адама больше в Библии не играет никакой роли, но в других древних свитках она продолжает жить. Появляется она и в «Фаусте» Гете в «Вальпургиевой ночи». Фауст встречается с ней и спрашивает у Мефистофеля:

М е ф и с т о ф е л ь: «Кто там?»

Лилит

Ф а у с т: На мой вопрос,  
Пожалуйста, ответь мне прямо.  
Кто?

М е ф и с т о ф е л ь: Первая жена Адама  
Весь туалет ее из кос.  
Остерегись ее волос;  
Она не одного подростка  
Сгубила этою прической.

Согласно древней легенде, Адам и Лилит поссорились. Лилит вступила в союз с самым главным чертом. Дети ее стали призраками, а сама она превратилась в ведьму.

Между тем Адам получил от Бога «помощника» — Еву, его вторую жену, сделанную из Адамова ребра. Во 2-й главе Первой книги Моисея, стихи 21 и 22, говорится: «И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку».

После того как Господь подчеркнуто назвал эту женщину «помощником» Адама, тот совершенно естественно сделал вывод (ведь опыт «первого брака» был не слишком удачным): «...вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою: ибо взята от мужа (своего)».

Другими словами: как только Адам увидел свою жену, которую впоследствии назвал Евой, он подчинил ее себе, т. е. рассматривал не столько как помощницу, сколько как свою собственность. Потом, когда Ева уговорит его отведать

плода от древа познания, Господь признает такую иерархию между ними, сказав Еве: «...он будет господствовать над тобою». Чего уж удивляться, что женщины с испокон веков борются за свою эмансипацию.

А гении и вовсе не могли признать в женщинах равных себе созданий. Одним из немногочисленных исключений был Вольтер. В Эмили дю Шатле он видел человека, равного себе во всем. Их отношения пример того, как два человека с гениальными задатками годами живут и творят рядом друг с другом. Правда, идиллия продолжалась всего пятнадцать лет, после чего Эмилия оставила Вольтера, которого когда-то боготворила, и в возрасте сорока двух лет ушла к человеку на десять лет моложе ее и вновь стала, как это было некогда в браке с маркизом дю Шатле, женой и матерью, только на этот раз по доброй воле.

Более современный пример таких отношений — Жан Поль Сартр и Симона де Бовуар; их отношения продолжались дольше. Подчеркнем, что в обоих случаях речь не идет о традиционных супружеских отношениях, напротив, и в том и в другом случае союз зиждился как раз на отрицании семейных уз.

Симона де Бовуар пишет о Сартре в своих мемуарах, что он ненавидел рутину и иерархию, карьеру, домашний быт, права и обязанности, все, что другие находят столь важным в жизни. Он не в состоянии был представить себя начальником, владеть какой-то профессией, иметь коллег, следовать правилам либо требовать, чтобы им следовали другие. Он не мог вообразить себя отцом, да и супругом тоже. Поэтому молодой Сартр предложил Симоне заключить договор вначале сроком только на два года. Симона, тогда еще студентка, согласилась. Она должна была оставаться в этом городе еще два года, а потом, по предложению Сартра, найти место где-нибудь за границей, чтобы два-три года не видеться друг с другом, а затем снова встретиться где-нибудь на земном шаре, например в Афинах. Долгая разлука позволит снова начать совместную жизнь, они никогда не станут чужими друг другу, никто никогда не будет жаловаться друг на друга, их союз не превратится ни в докуч-



ливую привычку, ни в досадную обязанность, им не придется крутиться как белка в колесе в рутине домашнего быта.

Они также решили никогда не обманывать друг друга и скрывать что-либо друг от друга, всегда все рассказывать друг другу. Симоне поначалу трудно было следовать этой договоренности, но вскоре она поняла ее преимущества: ей теперь не нужно было выяснять отношения с собственной совестью, всегда был куда более объективный взгляд на вещи, чем ее собственный.

Эта договоренность сыграла положительную роль в их отношениях, впрочем, кто знает, может быть, на деле все выглядело немного иначе. Во всяком случае, в записках де Бовуар есть и такое замечание: «Впервые в жизни я чувствую, как меня подавляет чужой интеллект», так что, увы, и Симоне было уготовлено в этом союзе второе место.

В других же семьях, особенно тех, которые называют счастливыми, это считается нормальным. Вспомним брак Бисмарка с Иоганной фон Путткамер. Она жила только для детей и мужа и готова была пожертвовать для них всем. Любопытный эпизод из жизни стареющей четы оставила баронесса Шпитцемберг: «Была у Бисмарков с Штольбергом, Агнес Пурталес и госпожей фон Арним. У князя ужасно болела голова, и жена во все время визита простояла за его креслом, выдавливая лимон на его лысую голову, — это было трогательно и комично».

Иоганна фон Бисмарк не стремилась быть на виду, она всегда была, можно сказать, не рядом с мужем, а позади него, в его тени. Она не отличалась крепким здоровьем, многие годы хворала, рано состарилась, страдала малокровием, всегда зябко ежилась и часто кашляла. Но в то же время она всю жизнь старалась скрывать свое нездоровье, чтобы не беспокоить мужа. Они прожили вместе сорок восемь лет, и еще за несколько дней до смерти она сопровождала Бисмарка в поездке, хотя была так слаба, что ее подняли в коляску на руках и она при этом чуть не потеряла сознание.

Ее смерть была тяжким ударом для канцлера. Он писал сестре: «Все, что мне оставалось, была Иоганна, беседы с ней, ежедневная забота о ее самочувствии, выражение благодарности, которую я испытывал к ней всю нашу жизнь. Теперь все

пусто и уныло. Мне представляется, что я вел себя неблагодарно. Любовь и признание народа выше моих истинных заслуг, но я радовался им, потому что это было приятно Иоганне. Сегодня угли моей жизни начинают гаснуть...»

В книге, посвященной «второму полу», Симона де Бовуар пишет: «Драма супружества заключается в том, что оно не только не обеспечивает жене того счастья, которое обещает (гарантии счастья не существует), оно обедняет женщину, делая ее жертвой бездуховной рутины».

Д. Лоренс, как ему казалось, нашел способ избежать унылой рутины супружества: брак, на его взгляд, должен быть союзом двух независимых людей, свободных от признательности по отношению друг к другу, от рефлексии, от каких-либо взаимных притязаний, поисков прибежища и т. п.

И все же притязания Адама на свою половину проявляются вновь и вновь, даже у того же Лоренса, автора эпатажного романа «Любовник леди Чаттерлей», который нередко поколачивал жену Фриду, оставившую ради Лоренса мужа с тремя малолетними детьми.

Это противоречие мы наблюдаем даже в абсолютно счастливом браке Роберта Шумана с Кларой Викс, союзе двух действительно в высшей степени одаренных личностей. Но Клара Викс быстро обрела славу виртуоза, ее творческий путь был усыпан цветами, в то время как Шуман, на самом деле более творческая личность, чем его жена, далеко не сразу обрел признание. Это усиливало его врожденную склонность к депрессии. Роберт Шуман умер в сорок шесть лет в неврологической клинике, а Викс, которая была моложе его на девять лет, пережила Шумана на целых полвека.

Клара Викс стала знаменитостью в совсем юном возрасте и не могла жить без поклонников и оваций. Не забудем и материальные проблемы: кто-то из супругов должен был заботиться о благосостоянии семьи, Шуман на это был совершенно не способен. Уже через шесть месяцев после рождения первого ребенка Викс отправляется в концертное турне из Лейпцига в Гамбург и Копенгаген, которое заняли два месяца. Потом она возвращается домой и записывает в совместный супружеский дневник:

«Боже, какая глупость была оставить тебя! Я до сих пор не могу прийти в себя. Господь снова вернул меня к тебе. Теперь я буду больше заботиться о нашей малышке. Разлука с новой силой дала мне ощутить странность и трудность нашего положения. Я ли должна забросить свой дар и сопровождать тебя в поездках? Ты ли должен пренебречь своим талантом? Мне кажется, мы нашли правильное решение. Ты отправляешься в дорогу, я возвращаюсь к ребенку и к моей работе. Но что скажут люди? Меня мучит эта мысль. Знаешь, Роберт, нам надо найти какой-то способ развивать наши таланты параллельно...»

Шуман ненавидел многочисленные турне жены. Композитор не мог избавиться от неприятного чувства, что в глазах публики он всего лишь муж знаменитости. В глубине души Шуман считал, что ее жизненное предназначение — быть женой и матерью. Однако для Клары Викс все увеличивающаяся орава детей была большим бременем и помехой в ее профессиональной карьере, Шуман же не принимал в расчет ее чувства и представлял дело так, что и Кларе безумно хочется иметь много детей. «Клара, — писал он, — считает, что главный ее удел — быть матерью, она счастлива и не собирается ничего менять». На деле же Викс была совсем не в восторге от того, что за шестнадцать лет супружества ей пришлось родить восьмерых детей, воспитание которых легло в основном на ее плечи. А Шуман надеялся, что дети привяжут ее к дому. Восьмой ребенок увидел свет, когда отец уже находился в неврологической клинике.

Симона де Бовуар пишет: «Если ребенок и обогащает даже счастливую или благополучную жизнь женщины, он не расширяет ее кругозора, не прибавляет ничего к ее внутреннему «я». По поводу мужчин знаменитая писательница приходит к такому выводу: «Супружество поощряет мужа своенравно навязывать свою особу жене. Каждый мужчина хочет подчинить женщину, это почти непреодолимое мужское стремление. Отдавать ребенка целиком во власть матери, а жену в полное распоряжение мужа — значит утверждать на земле тиранию».

## СТРЕМИЛИСЬ К ДОСТАТКУ

**К**ак часто в наши дни можно слышать сетования, что теперь не одни лишь торговцы и политики думают о деньгах, не меньше о них думают и деятели литературы и искусства. При этом исходят из того, что в прежние времена дело обстояло иначе: не одни лишь писатели и художники были идеалистами, не меньшими идеалистами были политики и генералы, материальные блага не слишком их заботили. Правда, можно вспомнить довольно известного писателя нашего века Готфрида Бенна. В сорок лет Бенн подсчитал, что за последние пятнадцать лет он написал и выпустил несколько книг стихотворений, книгу рассказов, одну пьесу и несколько десятков эссе. В среднем его заработок в месяц составлял четыре марки пятьдесят пфеннигов. Как это ни мало, Бенн по крайней мере не винил в своем бедственном положении издателей и книготорговцев, чем постоянно занимался Гете.

«Эти торговцы — сущие дьяволы, — жалуется он в письме к Фридриху фон Мюллеру, — они и других загоняют в ад». Самый великий поэт Германии настолько часто проклинал книготорговцев (в те времена это, собственно, книгоиздатели), что на века создал стойкое представление о нежной душе поэта, оскорбляемой алчущими сверхприбылей торгашами. Однако это не соответствует истине — Гете получал колоссальные гонорары!

Поначалу ему казалось отвратительным, как он пишет в книге «Поэзия и правда», «менять свои стихи, навеянные духом природы», на деньги, но, когда Гете увидел, как непо-

хо зарабатывают на нем издатели, довольно скоро поэт сам превратился в неплохого коммерсанта. За свою пьесу «Стелла» он потребовал у берлинского книготорговца Милуса двадцать талеров — неплохой гонорар, особенно если учесть, что Гете просил выплатить деньги до того, как Милус увидит, за что он выложил денежки. Эту манеру — продавать kota в мешке — Гете сохранил на всю жизнь.

Конечно, когда писатель подсчитал, что двадцать талеров — это всего одна пятая его месячного оклада, гонорар показался ему ничтожным. Напротив, издатель Милус эту сумму счел весьма изрядной, он отклонил требование Гете и написал своему приятелю Иоганну Мерку: «Он требует за эту, возможно, вовсе не интересную пьеску двадцать талеров, за другую заломил пятьдесят, а за «Доктора Фауста», того гляди, и вовсе запросит 100 луидоров? Меня удивляет такое отношение к книготорговцам, доктор Гете совсем не входит в их положение. Он, видимо, считает себя таким знаменитым, что готов требовать деньги за все, что выходит из-под его пера».

Дело было не только в славе, но и в растущем политическом влиянии Гете, благодаря ему он, единственный из писателей, добился авторского права, которое действовало и по прошествии тридцати пяти лет после его смерти на всей территории немецких государств. Поэтому издатель не боялся, что у него украдут и выпустят «пиратские» издания произведений Гете, что позволяло ему выплачивать поэту самые высокие гонорары, которые, пожалуй, являются рекордными и по сей день. Это касается и 60-томного собрания сочинений, в котором Гете успел подготовить сорок томов и которые выходили с 1827 по 1842 год. Предполагалось издать это собрание сочинений тиражом двадцать тысяч, и Гете должен был получить 60 тысяч талеров (а если тираж будет увеличен, то и больше). Гете получил 72 500 талеров, а его наследники вплоть до 1867 года, т. е. до окончания срока действия авторского права, еще 10 380 талеров.

Добавим, что отдельно Гете получал и гонорары за постановку своих пьес. Довольно трудно пересчитать этот гонорар на сегодняшние деньги. Но, несомненно, он превышает несколько миллионов марок. При этом министерское жалова-

ные Гете составляло в 1776 году тысячу двести талеров, с 1816 года оно было увеличено до трех тысяч. Поначалу гонорары за литературные произведения были незначительными, но уже в 1787 году книгоиздатель Гесхен выпустил собрание сочинений Гете и заплатил ему две тысячи талеров.

Укажем для сравнения, что ежемесячное жалованье солдата из полка мушкетеров в 1802 году было три гульдена, вахмейстера — двенадцать, ротмистра — семьдесят пять. На шесть гульденов можно было купить 500 кирпичей или 45 кг белого хлеба или 58 кг ржаного.

В разговорах со своим биографом Эккерманом<sup>1</sup> Гете оттачивает свое коммерческое чутье и обсуждает перспективы финансовой схватки с торговцами. Когда ему исполнилось восемьдесят лет, Гете пишет: «Надо дожить до старости, чтобы все это постигнуть, и еще иметь достаточно денег, чтобы оплачивать приобретенные знания. Каждое von mot, мною сказанное, стоит мне кошелька, набитого золотом. Полмиллиона личного моего состояния ушло на изучение того, что я теперь знаю, — не только все отцовское наследство, но и мое жалованье, и мои изрядные литературные доходы более чем за пятьдесят лет. Да еще и властительные особы истратили полтора миллиона на высокие научные цели. Я знаю это, так как принимал непосредственное участие в удачах и неудачах этих начинаний. Быть человеком одаренным — недостаточно; чтобы набраться ума, нужно еще многое: например, жить в полном достатке...»

Может быть, Гете и жил в полном достатке, но он отнюдь не шикавал, он всегда был озабочен тем, чтобы не истратить больше, чем можно. Наверное, поэтому он не терпел свою невестку Оттилию, которая вела его дом, они никак не могли сойтись в денежных вопросах. Для Гете была невозможна ситуация, нарисованная как-то его приятелем композитором Цельтером: «Появляется в доме этакая цыпочка, гладит старику бороду и шепчет ему на ушко ласковые слова и — гляди-ка — уносит в подоле золото и серебро...»

---

<sup>1</sup>Эккерман И. П. Разговоры с Гете. М., 1981. Перевод Н. Манн.

Оттилия не выказывала никакого интереса к ведению хозяйства, с которым прекрасно справлялась покойная Христиана. В доме вечно был беспорядок, деньги швырялись направо и налево. Она понятия не имела о бережливости. После смерти сына Гете забрал у Оттилии ключи от всех кладовых и сам распределял припасы вплоть до того, что хлеб для слуг резали в его присутствии.

И все же вывод, что Гете был скрягой, был бы неверен, просто он был бережливым человеком и всегда придерживался принципа: «Попытайся сэкономить один талер, потом — другой, и увидишь, как это здорово». Ему нужно было иметь деньги, чтобы чувствовать себя уверенно. Гете вел подробную запись всех трат. Благодаря этому мы точно знаем, что, когда Гете было двадцать лет, у него в доме было 34 скатерти, 267 салфеток, 108 полотенец, 194 рубашки с манжетами и 82 без манжет. В беседах с Эккерманом он хвалил двойную бухгалтерию, называя ее чудесным изобретением человеческого ума, и рекомендовал внедрять ее в домоводство.

Кстати, об Эккермане — Гете платил своему секретарю так мало, что тот не смел даже признаться в этом своей невесте. Ей пришлось ждать четырнадцать лет, пока Эккерман смог на ней жениться. Это случилось лишь тогда, когда Гете предложил Эккерману за 800 талеров издать двадцать томов его произведений.

Гете оставил своим наследникам тридцать тысяч талеров (больше миллиона марок по нынешним меркам), два дома и ценнейшие коллекции. Конечно, это был один из самых богатых литераторов. И все же ловким дельцом его не назовешь.

Другое дело Шекспир. В двадцать один год писатель должен был уже содержать жену и троих детей, а вскоре и отца, попавшего в затруднительное положение. Ему приходилось постоянно заниматься тем, чтобы надежно и выгодно вложить деньги, которые он зарабатывал.

В Стратфорде он купил самый богатый дом, хотя временно и влез в долги. С годами Шекспир прикупал землю, отдавая ее в аренду крестьянам. Ему принадлежали семьсот акров лугов и пашни. Незадолго до смерти Шекспир пе-

реписал свое завещание, над которым историки до сих пор ломают голову: из всего имущества он оставил жене только одну кровать, да и то не лучшую, а главной своей наследницей назначил старшую дочь.

Еще более ловким финансистом был Вольтер. Основу своего состояния он заложил выигрышем в лотерею. Однако выигрыш не был случайностью, как это водится в лотереях, а результатом ошибки устроителей. Вольтер и математик Шарль де ла Кондамин подсчитали, что, если приобрести все билеты лотереи, чистый выигрыш составит миллион ливров.

Вольтер объединился с друзьями, вложил все завещанное отцом состояние, одолжил, где мог, и приобрел таким образом почти все пущенные в тираж лотерейные билеты. Министр финансов, по инициативе которого была организована лотерея, был чрезвычайно доволен, что билеты разошлись так быстро, но когда обнаружилось, что для государства лотерея принесла одни убытки, он отказался выплатить выигрыш и передал дело в государственный совет, назвав Вольтера с друзьями мошенниками. История эта произошла во времена царствования монарха Людовика XV, однако надо признать, судьи оказались честными. Они постановили, что казна должна выплатить выигрыш. Доля Вольтера составила полмиллиона ливров.

А вскоре ему удалась еще одна афера. Герцог Лотарингский основал акционерное общество. К этому времени французы уже всю спекулировали акциями, и герцог позаботился о том, чтобы основная доля акций общества принадлежала ему. И все же Вольтеру удалось приобрести часть акций. Он воспользовался сходством звучания своего имени Аруэ (тогда он еще не называл себя Вольтером) с именем герцога Харуэ. «Таким образом я за несколько дней устроил свой капитал», — похвалялся Вольтер.

Деньги он вкладывал в самые разные предприятия, например в судовые компании, в торговлю зерном. Помимо литературных гонораров и сумм, которые время от времени выплачивал королевский двор, Вольтер не чурался и ростовщичества. Он одалживал деньги под большие проценты



своим высокопоставленным друзьям, причем всегда выколачивал оговоренный процент.

Возьмем, скажем, 1749 год. Вольтер получает только за счет процентов от одолженных сумм тридцать тысяч ливров. Добавим сюда четырнадцать тысяч от пяти-шестипроцентного займа города Парижа, 3600 ливров, полученных в знак признания его литературного дара от короля, семнадцать тысяч от торговли зерном, четыре тысячи ливров из отцовского наследства. Ну и наконец, по мелочи, — гонорары за театральные постановки и издания книг — еще тридцать тысяч. Таким образом, годовой доход Вольтера составил сто тысяч ливров, т.е. примерно полмиллиона долларов, если считать сообразно покупательной способности денег тогда и сейчас.

Философ Вольтер по части финансов был настоящий дока. Когда ему разонравилось жить во Франции и он после смерти Эмилии дю Шатле принял предложение Фридриха переехать в Пруссию и прибыл в Потсдам, он тут же продал свое звание камергера при французском дворе за шестьдесят тысяч ливров. Впрочем, и переезд в Потсдам был вовсе не бескорыстным — Фридрих пожаловал ему годовое содержание в двадцать тысяч ливров. Вольтер не собирался жить только на придворный оклад, он по-прежнему «крутил» деньги, хотя его операции и не всегда приносили прибыль. Так, на торговле зерном он однажды разом потерял в пересчете на нынешние деньги семьдесят тысяч долларов. Хотя Вольтер умел считать деньги, он умел быть и щедрым: обеим племянницам он дал в приданое по десять тысяч ливров. Много денег писатель вложил в реставрацию и обустройство замка Сире, где жил со своей божественной возлюбленной, хотя замок принадлежал не ей, а ее бывшему мужу.

Пребывание в Пруссии Вольтер также использовал для пополнения своих авуаров. В те годы весьма популярны были саксонские государственные займы. Фридрих навязал покоренной им Саксонии обязанность оплачивать ценные бумаги займа золотом. Это было весьма выгодно, потому что курсовая стоимость бумаг была намного ниже их истинной стоимости. Единственная заковыка для Вольтера заключалась в том, что деньги выплачивались только гражданам

Пруссии. Вольтер поручил купить бумаги саксонского займа на пятьдесят пять тысяч франков берлинскому банкиру Хиршу. Потом они что-то не поделили, и дело дошло до суда, на котором стали известны неприглядные махинации философа. Фридрих был просто потрясен: «Кажется, в данном случае, — писал он жене, — мы имеем дело с трюками мошенника, который пытался надуть обманщика». Он написал Вольтеру раздраженное письмо: «Я был очень рад предложить Вам гостеприимство. Я ценю Ваш ум, Ваши таланты, Ваши знания, и я полагал, что человек в Вашем возрасте устал бороться с издателями и пережидать непогоду под чистым небом, поэтому и предложил вам спокойную гавань, где можно переждать бурю. Но Вы вступили в сомнительную сделку с евреем и переполошили весь город. Афера с саксонскими ценными бумагами получила в Саксонии такую известность, что мне жаловались на Вас. До Вашего приезда мне удавалось поддерживать мир в моем доме и я предупреждаю Вас: если у Вас есть склонность к интригам и всякого рода сомнительным сделкам, то Вы ошиблись адресом. Я люблю миролюбивых и добропорядочных людей, поведение которых не влечет за собой драм и трагедий. Если вы все-таки решитесь оставаться философом, я буду рад видеть Вас у себя».

Вольтер прожил в Потсдаме три года, а потом все-таки рассорился с Фридрихом, правда, не из-за финансовых махинаций, а потому, что все время издевался над президентом Прусской Академии Наук, которого король высоко ценил. В 1753 году Вольтер поспешно покинул Пруссию, но и после этого в письмах Фридриху он требовал оплатить ему издержки на дорогу и часть годового оклада. Недолго пробыв в Эльзасе, Вольтер осел в Швейцарии, где надеялся спрятаться от политических преследований. В 1750 году он покупает себе поместье Делис неподалеку от Женевы и живет там со своей овдовевшей племянницей мадам Дениз, занимаясь сельским хозяйством: «Мадам Дениз и я, — пишет Вольтер, — заняты обустройством места для наших друзей и кур. Мы разводим морковь и заказываем тележки для овощей, мы сажаем апельсиновые деревья и лук. До всего руки не доходят. Карфаген должен быть построен».

Вольтер прикупает соседние земли и пишет другу Тьеро: «Вы ошибаетесь, полагая, что у меня две ноги, у меня их четыре: одна в Лозанне, где у меня прекрасный дом на зимнее время, другая нога в Делисе, неподалеку от Женевы, где меня навещают благородные друзья. Еще две ноги в Ферне и в графстве Турней, где я сдаю землю в аренду».

Вольтеру принадлежало в общей сложности двадцать поместий с общим количеством жителей более тысячи человек, он чувствовал себя настоящим феодалом: заботился о земле, решал все правовые споры, организовывал школы, создавал новые рабочие места, строил квартиры для рабочих. Он писал: «Я устроил себе в республике неплохое королевство».

Предполагалась, что все это должно стать моделью идеального государства: «У меня есть прекрасный дворец, замечательный сад, солидное состояние. Я хочу быть полезным стране, в которой я предпочел жить на склоне жизни. Я получил разрешение осушить болота, которые распространяют зловонные испарения. Я сделал эту землю пригодной для земледелия и превратил ее в прекрасные пашни и луга».

Вольтер нашел отличного часовщика и основал часовую фабрику. Для продажи ее изделий Вольтер использовал свои связи по всему миру. Вот его письмо русской императрице Екатерине II:

«Я только что узнал, что с моей фабрики ушла в Россию большая партия часов. Я выбрал моих бедных мастеров: они злоупотребили Вашей добротой, проявив чрезмерное усердие. Вместо того чтобы послать часов на 3 или 4 тысячи, как вы пожелали, они послали на все 8 тысяч, что было совершенно неразумно. Не думаю, Ваше величество, что вы собираетесь дарить эти часы туркам, хотя те были бы очень рады. Но вы можете сделать следующее: в числе прочих там есть очень красивые часы с Вашим портретом, притом совсем недорогие. Вот эти часы на 3 — 4 тысячи Вы могли бы оставить себе и использовать их как подарки. Такой подарок обошелся бы Вам от 15 до 40 или 50 рублей. А остальные часы можно отдать торговцам, которые еще и изрядно заработают на них.

Я беру на себя смелость, мадам, просить Вас не сразу оплачивать стоимость часов по обоим счетам, которая составляет 39 238 ливров. Такие большие единовременные траты могут превратиться в препятствие для Вашей благотворительности. Мои изготовители вполне удовлетворятся в этом году и половиной суммы, а другую Вы можете прислать потом. Я уговорю их потерпеть.

Кстати, они уверяют меня, и многие знатоки подтверждают их слова, что эти часы намного дешевле, чем в Женеве, а в Лондоне и Париже они стоят втрое дороже. Говорят даже, что в Петербурге их продают в два раза дороже, чем заплатили здесь. Нетрудно найти толковых людей, которые это проверят.

Если Вы, Ваше величество, согласны с этими выкладками, мои изготовители сделают все, что Вы пожелаете».

Не менее хитроумно составлял Вольтер рекламные тексты для шелковых чулок, которые тоже производились на его мануфактуре. Там выращивались шелковичные черви и из полученной шелковой нити изготовлялись чулки. «Мои шелковичные черви дали этот шелк, — расхваливал Вольтер свои изделия императрице, — а мои руки изготовили из них первые в этой стране чулки. Соблаговолите, мадам, принять их и покажите свои ноги в этих чулках тому, к кому лежит Ваше сердце, и если он не признает, что этот шелк прекраснее и прочнее, чем тот, какой производят в Провансе и Италии, я брошу свою мануфактуру. Когда поносите мои чулки, можете отдать их какой-либо из ваших придворных, она будет носить их еще несколько лет...»

Или, скажем, такой текст: «Я припадаю к Вашим ногам, потому что хочу видеть на них мои чулки. Окажите милость, укутайте Ваши прелестные ножки этими шелковыми нитями».

Воистину этот Франсуа Мари Аруэ, назвавший себя Вольтером и как философ в наибольшей мере обозначивший собой эпоху Просвещения, был гениальным бизнесменом. Когда он умер в возрасте восьмидесяти трех лет, он оставил племяннице Дениз огромное состояние, которое мы оценили бы примерно в пять миллионов долларов.

Еще более крупным предпринимателем был современник Вольтера Пьер Огюстен Карон де Бомарше, автор бессмертного «Севильского цирюльника» и «Женитьбы Фигаро». Сын парижского часовщика, он тоже поначалу был часовщиком при дворе Его Величества короля Людовика XV, учил его дочерей игре на арфе, был драматургом, публицистом, издателем, тайным агентом и спекулянтом.

Основной заработок Бомарше приносил литературный труд и прежде всего его знаменитая комедия «Женитьба Фигаро», которая и до сих пор с успехом идет в театрах всего мира. Современники с восторгом приняли эту комедию, в которой уже отразились революционные настроения. Это сразу понял брат Людовика XVI. «Народ, — писал он, — превозносит комедию до небес, полагая, что тем самым бьет по правительству». Сам Людовик считал, что постановка пьесы равносильна уничтожению Бастилии.

Пьеса, которую мы знаем теперь в основном по либретто оперы Моцарта, содержала огромный критический заряд: пронырливый камердинер Фигаро издевается над дворянством, государственными авторитетами, юстицией и цензурой. О графе Альмавиве он говорит, например: «Вы дали себе труд родиться, только и всего. Вообще же говоря, вы человек довольно-таки заурядный»<sup>1</sup>. Во времена, когда дворяне не работали, не платили налогов и существовали лишь за счет других, это был воистину пороховой запал. Поставить пьесу удалось, лишь сломив упорнейшее сопротивление королевской цензуры: спектакль вырос в политическое событие (только в театре «Комеди Франсэз» комедию до наших дней давали больше тысячи раз). За каждый спектакль Бомарше получал положенные тантьемы.

Финансовый успех «Женитьбы Фигаро» — целиком заслуга Бомарше. Ему пришлось выдержать долгую битву с администрацией театра за право получать определенную долю выручки от каждого спектакля. До него авторы практически ничего не имели от постановок своих пьес, вся выручка шла владельцу театра и актерам. Бомарше объе-

---

<sup>1</sup>Перевод Н. Любимова.

динился с коллегами и начал борьбу за авторское право. В своем меморандуме он пишет: «В фойе наших театров частенько можно слышать такое высказывание: «Авторы ведут себя неблагородно, поднимая вопрос о деньгах. Их высокое призвание — жить славой». Соглашусь, что нет ничего слаще славы, только нельзя забывать, что, упиваясь славой, несчастный человек осужден природой на то, чтобы триста шестьдесят пять раз в году обедать. Если военачальник или государственный муж без тени стыда кладут в карман заработанные ими деньги и стремятся достичь еще более высоких постов, которые принесут им еще более высокие оклады, то почему сын Аполлона, отпрыск муз, который каждый день ведет нескончаемые споры со своим булочником, не должен вступать в спор с актером?»

Впрочем, Бомарше жил не только на тангъемы. Разбогател он еще раньше (поэтому и смог позволить себе вязаться в тяжбу с театрами). Он сделал для короля самые маленькие часы в мире, придумав балансир. Потом он выгодно женился и вел много разных прибыльных дел. В частности, помогал американским колонистам, отстаивавшим свою независимость от Англии, но не деньгами — он продал им суда, оружие и военную амуницию в общей сложности на двадцать миллионов франков! Что до военных судов, то прибыль оказывалась частенько призрачной, потому что американцам нечем было платить. Когда в 1799 году Бомарше умер, он оставил наследникам миллион франков наличными, дворец, изрядный участок земли и активы в Америке.

Кстати, именно Бомарше взялся за первое издание полного собрания сочинений Вольтера, хотя издание и не принесло прибыли: Бомарше пришлось еще доложить полмиллиона франков.

Назовем и других великих художников и музыкантов, которым, может быть, было далеко до деловой хватки Бомарше, но которые также неплохо вели свои денежные дела: композитор Гендель, художник Лукас Кранах Старший, в XX веке — Пикассо и Дали.

Георга Фридриха Генделя, написавшего несчетное количество опер, ораторий и инструментальных произведений,

уже в молодости публика встречала триумфально, где бы он ни выступал — в Риме, Неаполе, Венеции. И уже тогда он отличался умением превращать овации в золото. Но по-настоящему он стал состоятельным человеком, когда в тридцать лет переехал в Лондон, где до самой смерти в 1759 году занимал пост придворного композитора. Несколько лет жизни в Англии принесли Генделю четырехэтажный дом, роскошно обставленный, с прекрасно вышколенными слугами. Наследникам Генделя досталось только наличностью около полумиллиона фунтов, не считая дома и ценных картин, среди которых две — кисти Рембрандта.

Лукас Кранах Старший не только писал картины, о чем известно всем, но и держал, о чем знают немногие, аптеку в городе Виттенберге. Он владел также художественной мастерской, в которой было занято подчас до десяти подмастерий. Картины и рисунки Кранаха шли нарасхват, так что он сумел дать дочери приданое примерно в полтора миллиона долларов.

Из хорошо зарабатывавших писателей нового времени не забудем Марка Твена, автора бессмертных «Тома Сойера» и «Гекльберри Финна». Надо сказать, у Твена было двойственное отношение к деньгам: с одной стороны, он осуждал и клеймил поклонение американцев золотому тельцу, с другой, сам мечтал стать миллионером. Марк Твен пишет открытое письмо Корнелию Вандербильту, одному из самых богатых американцев, который нажил состояние каторжным трудом:

«Бедный Вандербильт! Мне, право, жаль вас, честное слово! Вы — старый человек, и пора бы вам уйти на покой. А вам приходится лезть из кожи, лишать себя спокойного сна и мира душевного, отказываться от многого в вечной погоне за деньгами. Я всегда сочувствую беднякам, как вы, которых заездила их нищета. Поймите меня правильно, Вандербильт. Мне известно, что у вас семьдесят миллионов долларов. Но мы с вами знаем, что человек богат не тогда, когда у него большие деньги, а когда ему этих денег достаточно. А пока он жаждет увеличить свой капитал, он еще не богат. Будь у него даже семьдесят раз по семьдесят миллионов, они еще не делают его богатым, пока он томится жадной накопить больше. Моих средств только-только

хватило бы, вероятно, на покупку самой плохой лошади из вашей конюшни, но я могу сказать положила руку на сердце, что больше одной лошади мне не нужно. Значит, я богат. А у вас есть семьдесят миллионов, но вам непременно нужно пятьсот, и вы из-за этого искренне страдаете. Такая нищета просто ужасает. Честно вам говорю, вряд ли я мог бы прожить и сутки под тяжким бременем презренной жажды добыть еще четыреста тридцать миллионов. Это убило бы меня. Ваша злополучная нищета так меня удручает, что, встретив вас сейчас, я охотно бросил бы в вашу жестянку десять центов и сказал бы: «Да смилуйся над вами Господь, горемыка несчастный!»<sup>1</sup>

Не менее издевательски Марк Твен писал о таких финансовых магнатах, как Джон Рокфеллер, Джон Морган, Джон Уэйнмейкер. Писатель придумал, как избавить Америку от нищеты: бедняков надо перерабатывать на колбасу и продавать консервы туземцам — каннибалам. Это позволит убить двух зайцев: увеличить американский экспорт и избавиться от бедных. Твен считал капитализм и погоню за наживой безнравственными.

В то же время мы находим в его «Автобиографии» такие строки: «Остался ли во всей Америке хоть один честный человек? Год тому назад я был убежден, что, кроме меня самого, на всей американской земле нет такого человека. Теперь я разубедился в этом и твердо верю, что во всей Америке нет ни одного честного мужчины. Я держался все время до января месяца. А после этого я пошел ко дну вместе с Рокфеллером, Карнеги, Гульдами, Вандербилтами и другими явными мошенниками и дал зарок не платить налогов наравне с самыми бессовестными в этой компании. В моем лице Америка понесла большую потерю, ибо я незаменим. Потребуется не меньше пятидесяти лет, чтобы мне нашелся преемник. Я думаю, что все население Соединенных Штатов — кроме женщин — ненадежно, когда дело касается доллара»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Перевод М. Абкиной.

<sup>2</sup>Перевод Н. Дарузес.



Твен построил огромный дом в новоготическом стиле с девятнадцатью апартаментами, пятью ваннами и дорогой мебелью. «Это — самый замечательный дом, который когда-либо существовал», — с гордостью отмечал писатель. Сейчас там находится музей Марка Твена.

Но действительно ли был счастлив писатель в этом доме с мраморными полами, персидскими коврами, антикварной мебелью, вывезенной из Венеции, статуями, понатыканными по всем углам?

Твена охватила лихорадка спекуляций. Издательство, которое он основал, чуть не привело его на грань финансового краха. Немалые деньги Твен вкладывал в изобретения, и не только потому, что был увлечен идеей технического прогресса, но в первую очередь потому, что, на его взгляд, инвестиции в новые идеи окупаются стократно. В 1888 году, например, он вложил сорок шесть тысяч долларов в типографскую машину для печатного набора, в следующем году на нее уходило по четыре тысячи долларов ежемесячно, а всего писательхлопал на это изобретение двести тысяч долларов, пока не убедился, что вся затея не стоила выеденного яйца.

Эти затраты нанесли серьезный урон благосостоянию писателя. В пятьдесят один год Твен был в долгах как в шелках. Все деньги жены, все гонорары от книг и статей ушли на сомнительные предприятия.

Пришлось начинать все заново. Марк Твен отправляется в тринадцатимесячное путешествие с лекциями по Австралии. Поездка и написанная по ее впечатлениям книга «По экватору» принесла столько денег, что Марк Твен расплатился со всеми кредиторами, и остаток жизни провел если не в богатстве, то, по крайней мере, в достатке.

Много зарабатывал (и тем не менее всегда нуждался в деньгах) Пушкин. Цензор Никитенко вспоминает, как стихотворение «Анджело» вернулось к Пушкину с несколькими урезанными министром стихами. «Он взбесился: Смирдин платит ему за каждый стих по червонцу, следовательно, Пушкин теряет здесь несколько десятков рублей. Он по-

требовал, чтобы на место исключенных стихов были поставлены точки, с тем, однако ж, чтобы Смирдин все-таки заплатил ему деньги и за точки!»

Конечно, великие люди — крупные художники, писатели, композиторы — были, как правило, не бедные люди, раз уж они стали известными, так что всех их перечислять не стоит. Поскольку мы говорим о гениях, к таковым следовало бы отнести и кудесников в области финансов, но их частная жизнь для нас не представляет интереса.

Упомянем, пожалуй, только Генриха Шлимана, который заработал миллионы исключительно собственным трудом, не получив в наследство ни гроша. Всю жизнь он добывал деньги, чтобы реализовать свою единственную мечту — откопать гомеровскую Трою.

Из гениев изобретательства вспомним Томаса Алву Эдисона, который не получил какого-либо образования и который тем не менее является автором двух с половиной тысяч патентов. Не забудем и Альфреда Нобеля, а также изобретенный им динамит, принесший миллионы не только ему, но и все новым и новым нобелевским лауреатам.

В жизни Нобеля есть эпизод, который показывает, как заразительно богатство. В парижском доме Нобеля служила молодая кухарка. В один прекрасный день она попросила расчет и объяснила удивленному Нобелю, что выходит замуж. Изобретатель спросил, что он может подарить ей на свадьбу. И получил ответ: «Подарите мне сумму, какую месье Нобель получает за один день». Нобель произвел длинные расчеты и со словами «взялся за гуж, не говори что не дюж», вручил ей сорок тысяч франков.

Политики, генералы, полководцы тоже нередко совершали ловкие финансовые операции. Например, Евгений Савойский. В двадцать лет он пришел пешком в Вену с двадцатью пятью талерами в кармане. Когда Евгений Савойский умер, его состояние оценивалось в двадцать пять миллионов. Очень заботился о собственном кошельке Отто фон Бисмарк и успешно извлекал деньги из самых различных предприятий. Он торговал лесом, строил бумажные фабрики, разводил скот, гнал спирт. Все это плюс, конечно,

щедрое жалованье сделали Бисмарка мультимиллионером, к тому же по тайному распоряжению императора он был освобожден от уплаты многих налогов.

Бисмарк вообще платил налоги крайне неохотно. Когда император подарил ему участок леса в Саксонии, он указал стоимость в три-четыре раза ниже настоящей, чтобы поменьше платить налоговому инспектору. Поместье, где он жил, находилось возле деревни Фридрихсру. Ее население постепенно увеличивалось, росло и число ребятишек. Когда местный административный орган власти обнаружил, что число учеников в школе перевалило за сотню, он затребовал второго учителя — согласно прусским законам, на одного учителя не должно приходиться больше восьмидесяти учеников. Бисмарк наложил вето на это требование, не желая оплачивать еще и второго учителя.

Бисмарк был удачливым предпринимателем. Он гнал спирт на полдюжине принадлежавших ему винокуренных заводах, владел фабриками пиломатериалов. Любопытно отметить, что Бисмарк без колебаний использовал в корыстных целях свое высокое общественное положение. Когда однажды военному министерству предложили закупить строительный лес в Америке, Бисмарк быстренько разъяснил министру обороны, что американский лес изрядно уступает немецкому, имея в виду в первую очередь свое владение Саксенвальд:

«Сосны и дубы из немецких лесов отличаются необыкновенной прочностью, о чем свидетельствует опыт многих столетий. Достаточно вспомнить деревянную церковь Святого Николая в нашей местности, построенную шестьсот лет назад, деревянные стропила домов и церквей, которым не меньше ста лет. Что касается надежности американского леса, то она еще нуждается в проверке. Америка существует слишком недолго, чтобы предъявить доказательства прочности своих строительных материалов. Говорят, что в американских пиломатериалах много смолы, может статься, что именно это обстоятельство приведет к тому, что в уже возведенном доме начнет сквозь краску проступать смола. Мнение, что наш дуб, высохнув, коробится, ни на чем не основано. Если в дело брали здоровые деревья, то ни стро-

ители домов, ни кораблестроители не отмечали искривления дубовых досок. Практику покупки на государственные средства соснового и кипарисового дерева в Соединенных Штатах я считаю ошибочной, как и то, что предпочтение отдают ему, а не немецким дубам и соснам. В письме Вашего Превосходительства говорится о том, что при покупке американского леса речь шла о небольших объемах. На это я хочу возразить, что ущерб, наносимый военным ведомством немецким производителям древесины, может оказаться весьма значительным: это дурной пример, негоже покупать за границей материалы, которые в достатке могут быть предоставлены собственными производителями.

Тот факт, что пользующееся всеобщим уважением военное ведомство объявляет зарубежную древесину лучше отечественной, снижает престиж последней в глазах покупателей, ухудшает ее сбыт и тем самым уменьшает поступление налогов в казну».

По утверждениям биографов, Бисмарк считал себя вправе пользоваться всеми благами, которые только предоставляет ему Отечество. При этом речь шла не о коррупции, Бисмарк брал лишь то, что ему предлагали, а он охотно рядился в тогу бедняка. Поэтому, когда к его семидесятилетию объявили сбор пожертвований, он и не подумал возразить. На эти средства предполагалось построить дворец в любимом поместье канцлера Саксенвальд. Бисмарк не принял это предложение, но лишь потому, что не хотел провести остаток жизни в шуме и грохоте строительства. На собранные деньги он купил поместье, прежде принадлежавшее Бисмаркам, а потом ушедшее в чужие руки.

Надо сказать, что были голоса протеста, люди возмущались сбором денег для богатого человека. В результате пришли к соглашению, что половина собранных средств, а их оказалось два миллиона триста тысяч марок, будет израсходована на общественные нужды, а половину получит канцлер. Но Бисмарка такое решение не устраивало, в этом случае ему не хватило бы денег для покупки поместья. Но недостающие триста пятьдесят тысяч Бисмарку дала ипотека.

Немало денег принесли Бисмарку его мемуары. Владелец типографии выплачивал канцлеру самой большой гонорар в истории Германии — сто тысяч марок за один том. Предусматривалось, что выйдут шесть томов «Мыслей и воспоминаний», но свет увидели только три, потому что старик потерял интерес к этому делу. Впрочем, издатель не остался внакладе, каждая книга выходила в роскошном переплете за немалую по тем временам цену двадцать марок. Бестселлером стали также «Письма к невесте и жене». Но они появились уже спустя полгода после смерти Бисмарка и были изданы его сыном Гербертом.

Впрочем, литературные заработки Бисмарка выглядят не столь впечатляющими, если сравнить их с гонорами деятелей нового времени. В пятидесятые годы самым преуспевающим писателем Англии считался Уинстон Черчилль. В 1952 году в Великобритании было всего-навсего 39 миллионеров, Черчилль занимал среди них четвертую строчку и выплачивал в виде налогов 92% своего дохода. Только в Америке его военные мемуары принесли ему 750 тысяч долларов. Это на сто тысяч больше, чем получил за свой «Крестовый поход в Европу» Дуайт Эйзенхауэр. Гарри Трумену нью-йоркское издательство предложило за мемуары вдвое большую сумму. Еще больший гонорар назначили генералу Дугласу Макартуру — 5 миллионов 400 тысяч.

Вообще писательство известным политикам и генералам приносит куда больше денег, чем профессиональным писателям. Даже очень популярные прозаики не могут похвастаться большими барышами. Когда один из самых читаемых в Европе писателей Сомерсет Моэм в возрасте семидесяти семи лет подвел итоги своей работы, оказалось, что за всю жизнь он заработал что-то около трех миллионов фунтов стерлингов. То есть куда меньше, чем получил за одну-единственную книжку герцог Виндзорский. Бывшему королю Великобритании только за появившиеся в периодических изданиях отрывки из его книги «Судьба короля» заплатили три с половиной миллиона долларов, что уж говорить о гонораре за книгу целиком!

Миллион и тоже за одну-единственную книжку получил Адольф Гитлер. Общий тираж его книги «Майн Кампф» до 1945 года — больше десяти миллионов экземпляров. Ее продавали и за границей, в Англии к началу войны было раскуплено восемьдесят тысяч книг. Гонорар за книгу Гитлер сдавал в специальный фонд, который расходовался на особые проекты, например на строительство знаменитого чайного домика неподалеку от Берхтесгадена.

По декрету об оккупации Германии все права на книгу «Майн Кампф» получила Бавария. Однако правительство Баварии утверждает, что не заработало на этой книге ни пфеннига, и возражает против публикации книги.

В то же время семья Муссолини несколько послевоенных лет жила исключительно на гонорар от «Дневника графа Чиано», изданного его женой Эддой, дочерью Муссолини. Только из Соединенных Штатов семья Муссолини-Чиано получила за эту книгу тридцать пять миллионов лир. Хорошим гешефтом стало и издание любовных писем бывшего дуче. Когда на издательском рынке появились письма Муссолини к Кларетте Петаччи, за них было предложено сто пятьдесят миллионов французских франков. Сто тысяч долларов получила от журнала «Кольерс» за письма Муссолини Маргарита Сарфатти, которая долгие годы была его любовницей.

Так что и в новые, и в «добрые старые времена» люди не были идеалистами и не чурались денег. В дневнике баронессы Шпитцемберг мы находим запись от 7 марта 1872 года (т. е. после победы над Францией и образования II Германского рейха): «Наконец-то император роздал пожалованные суммы: Роон, Мольтке, Мантейфель получили по 300 тысяч талеров, Дельбрюк — 200, Вердер, Гёбен и Блюменталь по 150, еще семнадцать человек, среди них принц Август, по 100 тысяч». И далее баронесса замечает: «Тщательное распределение наградных сумм вплоть до последнего генерала таит в себе нечто непристойное. Говорят, что таков древний прусский обычай, но он как-то не вяжется с понятиями чести и рыцарства, с представлением о беззаветном служении Родине».

## АЛКОГОЛИКИ ИЛИ НАРКОМАНЫ

**По** дороге в Нью-Йорк он задержался в Балтиморе. Если быть совсем точным, это произошло не по его воле: вместе с дюжиной бродяг его «замели» на улице добровольные помощники мэра, которые должны были набрать на выборы как можно больше голосов. Они затащили бродяг в пивную и выставили им батарею спиртного. Кто-то из завсегдаев, может быть, даже один из «собутельников» проявил милосердие и отослал записку следующего содержания:

«Уважаемый г-н.....!

На улице Райенс, 4-й участок, в ужасном состоянии находится один господин. Его зовут Эдгар По. Похоже, он дошел до крайности. Он утверждает, что знает Вас. Подчеркиваю, ему нужна срочная помощь. Поторопитесь».

Друг По немедленно отправился по указанному адресу и действительно обнаружил там самого знаменитого поэта Соединенных Штатов: «Его лицо опухло. Он давно не мылся и не брился, волосы всклокочены, вид отталкивающий, широко раскрытые, когда-то одухотворенные глаза, столь красившие его лицо, когда он был сам собой, утратили блеск, запали и терялись в тени надвинутой на высокий лоб шляпы без полей. Грязный тонкий сюртук залоснился и светился от дыр. Брюки, если можно было еще так называть эту часть одежды, свисали ключьями с растерзанного тела. На нем не было ни жилета, ни галстука. Мятая рубашка была неузнаваемого цвета...»

Писателя отвезли в больницу, где два дня он метался в белой горячке. На третий день он пришел в себя и на слова

врача, что вскоре он поправится и снова встретится с друзьями, По ответил, что самое лучшее, что могут сделать для него друзья, это пристрелить его. На следующий день 7 октября 1849 года великий писатель Эдгар Алан По умер. Ему было сорок лет.

Самое печальное, что в наше время число умерших от алкоголя растет в устрашающих темпах, в особенности в странах с высоким жизненным уровнем. Во всем мире менеджеры употребляют алкоголь в угрожающих здоровью количествах в рабочее время, на рабочем месте или на так называемых деловых встречах. Еще хуже, что в запойных пьяниц превращаются молодые люди, школьники и школьницы. Пора поставить заслон алкогольной волне.

Попытки такого рода делались всегда и во многих странах — не только в Соединенных Штатах двадцатых годов, когда там объявили «сухой закон». По-видимому, самая древняя лига борьбы с пьянством была организована фараоном Рамзесом II. Строжайше запрещалось употреблять алкоголь жителям Спарты. В Европе Карл Великий, ненавидевший пьянство, поставил перед собой задачу искоренить его полностью: «Если кого-либо обнаружат пьяным в военном лагере, — говорится в капитуляриях Карла (так он именовал свои военные распоряжения), — тот будет пить только воду, пока не признает, что был не прав». Мартин Лютер возглашал: «Я посылаю молитвы Богу, чтобы он уничтожил все пивоваренные заводы. Я проклинал человека, который первым сварил на земле пиво».

Знаменитый деятель немецкой Реформации, гуманист и теолог Филипп Меланхтон был убежден: «Мы, немцы, спиваемся до нищеты, до смерти, мы пьем так, что нас ждет прямая дорога в ад».

С другой стороны, нередко раздаются голоса в пользу спиртного, если его употреблять умеренно. Георг Кристоф Лихтенберг, например, полагал: «Если задуматься над тем, откуда берутся многие великие мысли и дела, то обнаружится, что они не появились бы на свет, если бы все бутылки остались неоткупоренными. Просто не верится, сколько поразительных идей вылилось через горлышко бутылки». Гете сказал как-то



Эккерману, что в вине немало скрытых творческих начал, только при его употреблении надо знать время, место и обстоятельства. Ведь что одним на пользу, для других может принести вред. Говоря об «одних», Гете, в частности, имел в виду себя. Поэт всю свою жизнь любил и пил вино и, как можно убедиться из его переписки с виноторговцем из Эрфурта Христианом Раманном, тратил на него немалые деньги, хоть и платил не так уж аккуратно. Однажды он задолжал виноторговцу тысячу четыреста талеров, но это не помешало Гете послать новый заказ, правда, не от своего имени, а от имени жены Христианы. Письмо с заказом на сто пятьдесят литров вина начиналось такими словами: «Глубокоуважаемый господин Раманн! Пожалуйста, не беспокойтесь об оплате. Муж уже дома, он лишь просит немного повременить...»

Не стоит думать, что все это количество выпивал Гете с женой; поэт и министр часто принимал гостей, и те тоже отдавали должное божественному напитку. Пили немало. С 16 марта по 30 мая 1816 года у Раманна было закуплено почти 200 литров вина, за 1821 год — 900 литров. Не забудем, что Гете покупал и у других виноторговцев, в Гамбурге, Бремене, Франкфурте, Швейнфурте, причем, главным образом, венгерские, французские, испанские и португальские вина. У Раманна он отдавал предпочтение винам из немецкой лозы. Сам Гете, по свидетельству современников, выпивал в день до трех бутылок.

Было бы неверно, однако, причислять великого поэта к алкоголикам — были периоды, когда он пил совсем мало, а иногда пил охотно и помногу, полагая, что вино идет ему на пользу. Говоря о «других», которым вино может принести вред, Гете, без сомнения, имел в виду Шиллера. Обычно поэт много не пил, но в минуту слабости и дурного настроения пытался поднять дух с помощью ликера или любого другого спиртного. Это всегда плохо отражалось на его здоровье, да и творчеству не способствовало. Все слабые места в его произведениях, считал Гете, написаны под воздействием винных паров.

К тем, кому алкоголь только во вред, Гете относил и своего сына Августа, который очень рано стал запойным пьяницей, и

его жену. Вильгельм Гримм после одного из посещений Гете отмечает: «Сын пьет без меры, а еще больше его женушка».

Возможно, Гете имел в виду и Лихтенберга, о привычках которого рассказывает его современник, состоявший в переписке с Гете и Кантом: «Он встает поздно и сразу же выпивает кофе, испанскую горькую настойку и вино. На обед снова подают вино. После обеда, чтобы поддерживать творческое настроение, снова вино и ликер».

Всем было известно, что известнейший профессор Геттингенского университета писатель и философ Лихтенберг пьет как сапожник. Это подтверждают и его дневники. Время от времени он пытался избавиться от вредной привычки, но вынужден был капитулировать. «Без вина в мире ничего нет, по крайней мере для меня», — признался он как-то в своем дневнике.

Если где-нибудь на небесах есть специальное облачко для алкоголиков и наркоманов, мы там непременно найдем Лихтенберга, притом в замечательной компании. Вот выписка из книги Готфрида Бенна, повествующей о пагубных страстях великих людей:

Опиум: Де Куинси, Колридж, По.

Эфир: Мопассан (а также алкоголь и опиум), Жан Лорэн.

Гашиш: Бодлер, Готье.

Алкоголь: Александр Великий (в состоянии оьянения убил своего лучшего друга и наставника, умер от белой горячки), Сократ, Сенека, Катон Септимус Север (умер от белой горячки), Цезарь, Мухамед II (белая горячка), Рембрандт, Бернс, Глюк (вино, коньяк, умер от алкогольного отравления), Шуберт (пил с пятнадцати лет), Торквато Тассо, Гендель, Гофман, По, Мюссе, Верлен, Ленц, Жан Поль, Бетховен (умер от цирроза печени).

В этом списке некоторые имена встречаются дважды, это значит, что человек был и алкоголиком и наркоманом. Английский писатель Томас де Куинси уже в девятнадцать лет пристрастился к опиуму. Когда ему было пятьдесят, ему требовалось в день пять тысяч капель опиума, чтобы преодолеть душевные и физические муки. Де Куинси — автор автобиографической книги «Исповедь англичанина-опи-

омана». К опиуму пристрастился и его современник поэт Колридж, перу которого принадлежат романтические стихи, отличающиеся поразительной музыкальностью.

Французский писатель Альфред де Мюссе был, можно сказать, человеком запойным. Пил ведрами, и не столько ради удовольствия, сколько, как он полагал, для вдохновения.

Наоборот, эстет Оскар Уайльд, настоящий денди, мог пить весь вечер, не пьянея, и считал, что для раскрытия таланта и более полного наслаждения жизнью необходимы наркотики, которые раздвигают горизонты, позволяют глубже понять и постичь красоту. В романе «Портрет Дориана Грея» один из героев утверждает: «Красота — один из видов Гения, она еще выше Гения, ибо не требует понимания... У вас впереди не много лет для жизни настоящей, полной и прекрасной. Минет молодость, а с нею красота — и вот вам станет ясно, что время побед прошло... Так пользуйтесь же своей молодостью, пока она не ушла... Живите! Живите той чудесной жизнью, что скрыта в вас. Ничего не упускайте, вечно ищите все новых ощущений. Ничего не бойтесь! Новый гедонизм — вот что нужно нашему поколению»<sup>1</sup>.

Что касается писателя Ги де Мопассана, который умер всего сорока двух лет, то он стремился не к наслаждениям и удовлетворению всякого рода желаний, а всего лишь хотел избавиться от постоянных головных болей, так как страдал дикой мигренью (современные врачи полагают, что она могла быть следствием сифилиса). Он пытался заглушить эту боль алкоголем, хлороформом, морфием, опиумом, кокаином, гашишем. Выглядел Мопассан как сказочный богатырь — высокого роста, блондин, с прекрасной спортивной фигурой. А на самом деле в тридцать лет он уже был конченный человек.

Безмерно злоупотреблял наркотиками и спиртным великий французский поэт Шарль Бодлер. Ему казалось, что в состоянии наркотического дурмана, особенно при курении гашиша, он находил дорогу к собственному «я». Другой французский писатель Теофиль Готье также относился к поклонникам гашиша.

---

<sup>1</sup>Перевод М. Абкиной.

Надо сказать, что история вынуждена нередко пересматривать свои оценки. Например, большинство биографов Александра Македонского считали, что он умер от алкоголя, сейчас же утвердилось мнение, что скорее всего великий полководец погиб от малярии. Да и Цезарь, поспешно зачисленный биографом Бенном к алкоголикам, скорее всего всегда сохранял трезвую голову и ушел из жизни не от цирроза печени, а от кинжальных ударов.

Вообще список Бенна далеко не полный. В нем не упоминается, например, Вольтер, который потреблял в день до тридцати граммов опиума; австрийский поэт Георг Тракль к концу жизни сознательно принимал кокаин и морфий, чтобы поскорее разрушить свой организм и умереть.

Тракль ухитрился занять место аптекаря, и это позволило ему многократно повысить ежедневную дозу наркотиков, да и алкоголем он не пренебрегал. Уже с утра сидел в одном из венских погребков, как правило, с друзьями, такими же выпивохами, как Тракль. Как минимум он выпивал литр, а подчас и до десяти больших стаканов, т. е. до двух с половиной литров вина. За полтора года до смерти Тракль записал: «Я с нетерпением жду минуты, когда душе надоест находиться в этом ничтожном, терзаемом меланхолией теле». 3 ноября 1914 года Тракль, которому было всего двадцать шесть лет, умер. Передозировка кокаина привела к остановке сердца.

Можно вспомнить и Тулуз-Лотрека и Ференца Листа. Художник Тулуз-Лотрек с трудом передвигался на колесных в результате перелома бедер конечностях и чувствовал себя изгоем. Хотя он был невероятно одарен, он считал себя неудачником и искал утешения в спиртном. В тридцать два года у него дрожали руки и язык заплетался. Потом появилась мания преследования. Тулуз-Лотрека поместили в клинику, но излечить от алкоголизма уже не удалось. Он умер в тридцать шесть лет.

Ференц Лист, правда, уже немолодым человеком, страстился к коньяку. Несмотря на все предостережения врачей — Лист страдал к тому же водянкой, — он не мог отказаться от пагубной привычки. В алкогольном угаре он упал с лестницы и сломал ногу. Врачи строго-настрого

запретили ему спиртное, и близкие тщательно следили за выполнением этого предписания, но Листу становилось только хуже, и, когда он заболел воспалением легких, у него уже не было сил бороться с болезнью.

У французского поэта Поля Верлена с двадцати лет была репутация выпивохи, и он страдал алкогольным полиневритом. Верлен умер на пятьдесят первом году жизни, успев стать одним из величайших поэтов Франции и основателем французского символизма.

«Я вынужден непрестанно опьянять себя, чтобы не чувствовать злоеущего гнета времени, который безмерно давит на плечи», — писал Бодлер, автор знаменитых «Цветов зла». Гениальный писатель Гофман также был склонен к пьянству. Хотя его друзья уверяли, что автор «Житейских воззрений кота Мурра» и «Эликсира дьявола» пил только шампанское и тонкие вина, на самом деле он пил все, что попадалось под руку или удавалось получить в кредит, т. е., как правило, самые дешевые вина или вообще какую-то бурду. Вот пиво он отвергал, считая его бездуховным напитком, от которого только клонит в сон и появляется тяжесть во всем организме.

Может быть, Гофман таким образом тоже пытался спастись от будней? В его дневнике есть такая запись: «Быт мне омерзителен». Однако Гофман был советником Берлинского камерного суда и, как положено прусскому чиновнику, человеком обстоятельным и ответственным. Поэтому он никогда не пил днем, а только вечером. Алкоголь возбуждал в нем способность мыслить образами и переносить на бумагу видения, которые возникали перед ним в таком состоянии. Он пил, как признавался сам, до галлюцинаций, рождавших гармонию красок, звуков и запахов. «Звуки, как лучи света, тянутся из моей головы к цветам и собирают с них росу. Цветы, как подсолнухи, поворачивают свои солнечные головки ко мне и источают яркое сияние. Это сияние льется на меня золотым дождем, глаза смежаются, и я погружаюсь в блаженство».

Но иногда у Гофмана бывали ужасные видения. По ночам, когда он работал при свете свечи, жуткие тени выползали из-за занавесей и устремлялись на поэта, его охва-

тывал ужас, он дико вскрикивал, и только появление жены избавляло его от кошмаров. Гофман умер сорока семи лет от цирроза печени и алкогольного полиневрита.

И все же, как мы отмечали, Гофман был в высшей степени исполнительным чиновником, и пьянство никак не мешало ему выполнять свои служебные обязанности. В противоположность ему его современник, юрист и поэт Христиан Дитрих Граббе нередко появлялся в присутственном месте, плохо держась на ногах. Закладывать за воротник он начал еще в гимназии, а впоследствии в любое время суток готов был принять дозу спиртного. В конторе перед ним всегда стояла кружка пива, но вскоре такой малоалкогольной напиток перестал оказывать желаемое действие, и Граббе перешел на ром и водку.

В 1831 году он служил в городишке Детмольд военным судьей. В его обязанность среди прочего входило приводить к присяге молодых офицеров. Однажды двое молодых людей прибыли к нему в одиннадцать часов утра. Граббе их знал еще по гражданской службе. Он принял их в своем кабинете. На нем были кальсоны и пижамная куртка в красную полоску. На столе стояла початая бутылка с ромом. Он потребовал, чтобы офицеры выпили с ним. Те отказались, тогда Граббе заявил: «Ну что же, не будем терять времени».

Однако присягу он должен был принимать в униформе. Граббе исчез в соседней комнате и через несколько минут появился снова. На белые кальсоны он натянул черные шелковые чулки, поверх пижамы надел черный фрак, босые ноги сунул в тапочки. Офицеры при виде его расхохотались. Граббе оборвал их: «Прекратить смех. Это — торжественный акт. Не глядите на мои подштанники. Думайте о Боге! Я ведь могу обойтись с вами и по-другому». Однако он с трудом держался на ногах, шатался, чуть не подметая лапами фрака паркет. Тем не менее он начал читать текст торжественной присяги. Вскоре ему это надоело: «Да вы сами знаете текст присяги и знаете, что он означает, чего там прикидываться. Ну-ка быстренько поднимите руку вверх и повторяйте за мной: «Я клянусь». Ну, вот и готово. А теперь берите стаканы и пейте, иначе я вас отсюда не выпущу!»

Граббе шел двадцать девятый год. Через шесть лет он умер.

Граббе пытался в помощью алкоголя забыться, Гофман видел в нем способ погрузиться в мир божественных красок и звуков, а вот швейцарский поэт Готфрид Келлер под влиянием винных паров становился вздорным и агрессивным. Каждый вечер он заходил в местный ресторанчик и пил. Время от времени он напивался до положения риз, особенно когда у него бывали неприятности или он получал отказ от очередной пассии. Келлер вообще не умел ладить с женщинами. После первого же «нет» он не находил ничего лучшего, как обходить все близлежащие пивнушки и затевать драки. Победы в рукопашных схватках немало тешили его самолюбие, и даже спустя годы он с удовольствием вспоминал о потасовках: «Я тогда был первоклассным бойцом. Я благословляю вино, оно дало мне мужество сказать этой морде, которая напрашивалась на оплеуху, все, что я о ней думаю. Да и трусоват был этот молодчик, ведь он куда сильнее меня, а я его отделал любо-дорого посмотреть».

Келлер ввязывался в драку не только тогда, когда его отвергали женщины. Современник вспоминает: «Хуже всего было, когда он оказывался в многолюдном обществе, ведь среди них непременно кто-то покажется Келлеру неприятным, и он тут же пускал в ход кулаки. Хотя он был небольшого роста, он, как молния, бросался на любого верзилу, опрокидывал стаканы, тащил его от стола и избивал».

Газеты любили сообщать о попойках и драках своего знаменитого соотечественника, и однажды это привело к роковому исходу. Келлер нашел наконец женщину, согласившуюся стать его женой, но бедняжка покончила с собой через несколько месяцев после помолвки от стыда за будущего мужа, прочитав в одной из газет о его безудержных драках.

Готфрид Келлер пил, потому что любил вино. В старости он уже не мог ежедневно ходить по погребкам, ему было трудно ходить. «Но по субботам вечером и в воскресенье я остаюсь в городе, — пишет он приятелю, — и пью за десятерых! Мне приятно смотреть на кислые рожи людшек, что поглядывают на меня из-за соседних столов».

А вот, скажем, Эдгар По, Джек Лондон и композитор Мусоргский пили не потому, что им нравился вкус напитка, а ради эффекта, который он производил.

«Сосать кусочек сахара было бы для меня куда приятней, — утверждал Лондон, — но когда мне нечего делать, я поддаюсь уговорам приятелей и разделяю с ними удовольствие упиться так, чтобы почувствовать себя в раю».

Мусоргский тоже всегда готов был принять участие в дружеской пирушке, причем уже тринадцатилетним кадетом, а в офицерское звание он вышел, можно сказать, запойным пьяницей.

Эдгар По еще в школе занимался тем, что испытывал действие вина. «Он хватал соблазнительный стакан, — вспоминал один из его товарищей, — и, не добавляя в него ни сахара, ни воды, залпом осушал его до дна. При этом сам напиток не доставлял ему ни малейшего удовольствия и больше стакана он выпить не мог, но и этого хватало, чтобы его нервная натура пришла в сильнейшее возбуждение. Из рта По лились восторженные фразы, завораживавшие слушателей, которые слушали его, как моряки — сирену».

Лондон пристрастился к вину еще раньше, чем По. «Я впервые напился в пять лет, — говорится в автобиографическом романе «Джон Ячменное зерно. Воспоминания алкоголика». Пиво Лондон не любил: «Что касается меня, то я могу отлично прожить и без пива, век бы его не видеть». Судьба распорядилась так, что Лондон вынужден был податься в моряки: «Я должен был зарабатывать на жизнь на флоте. А это — прямой путь к бутылке».

Лондон зарабатывал кучу денег. Он имел все, что нужно человеку: признание, жену, детей, прекрасный дом, землю. «Воистину, — писал он, — я должен почитать себя счастливым. Вряд ли у ста человек из миллиона есть столько оснований быть счастливыми. И все же я несчастлив, потому что за мной след в след идет король Алкоголь, который стал моим спутником с дней моей юности, поджидая и предательски нашептывая мне свои утешительные слова на каждом углу. Да и теперь этот искунитель и убийца встре-



чает меня на любой улице, в любом доме. Ведь он находится под защитой закона и его оберегает полиция».

Страдал запоями и известный австрийский писатель Йозеф Рот, прославившийся романами «Иов» и «Марш Радецкого». Рот участвовал в Первой мировой войне, потом стал журналистом. Он покинул Германию в 1933 году и с 1935-го жил в Париже. Однажды друзья доставили его в больницу и сказали врачам, что у писателя — сердечный приступ. На самом деле Рот несколько месяцев беспробудно пил. Врач поставил диагноз «делириум тременс» через два дня после того, как Рот попал в больницу. Все это время он не получал ни капли спиртного, что для человека в его состоянии было равносильно убийству.

Друг писателя рассказывает: «Трудно сказать, можно ли было спасти Рота. Знаю только, что одна дама из высшего общества говорила, будто Рот умер в больнице Неккера от разрыва сердца. Наверное, у нее язык не повернулся сказать, что известный человек умер от белой горячки. Конечно, его надо было поместить в больницу для алкоголиков. В больнице Неккера его положили на кровать без подушки, а когда Рот хотел убежать, его просто-напросто привязали к ней. Представьте себя Йозефа Рота, привязанного ремнями к койке в больнице для бедных!» Йозеф Рот умер 27 мая 1939 года.

Очень много пили Эрнест Хемингуэй, Генри Мюллер и Уильям Фолкнер, особенно последний. Фолкнер как раз был в запойной стадии, когда ему была присуждена Нобелевская премия по литературе. Об этом старались не говорить, как и о том, что умер Фолкнер в больнице для алкоголиков, в свидетельстве о смерти назвали другую причину. «Романы Фолкнера не стали хуже оттого, что автор был запойным пьяницей, возможно, напротив, лучшие строки он написал под влиянием паров алкоголя. Так что нам до того, что он закладывал за галстук?» — пишет Курт Кузенберг в книге «Честный выпивоха», в которой пытается провести грань между пьющим человеком и алкоголиком. Для алкоголика, утверждает Кузенберг, бутылка — «бог и молитва. Он думает о ней с утра до вечера. Вече-

ром он ставит бутылку рядом с кроватью, чтобы, как только проснется или как только взойдет солнце, не тратить времени на поиски. Жизнь алкоголика проходит между состоянием полуопьянения и полного опьянения. Он залезает в долги, нарушает слово, не выполняет обещаний. Он неизменно опускается вниз — в позорную нищету, сточную канаву, больницу».

Пьющий человек, по мысли Кузенберга, — совсем другое дело. «Его рабочий день — такой же, как у нас с вами. Он много работает, его дом в порядке. Он хороший отец и любящий муж. Он пьет иногда больше, иногда меньше, но знает меру и никогда не упивается до потери сознания, разве только по воскресеньям и в компании. Говорит он вполне связно, не бродит, спотыкаясь, по квартире. Пьющий человек — вполне добропорядочный член общества, он не залезает в долги, он платит по счетам винооторговца и вовремя пополняет запасы».

Слова утешительные, но, увы, — чистая теория, которая не учитывает одного важнейшего обстоятельства: пьющего человека от алкоголика отделяет один шаг, они идут по дороге с односторонним движением. Эту истину прекрасно понимал сказочник Ганс Христиан Андерсен. Всю жизнь он панически боялся алкогольной зависимости, потому что его мать умерла от пьянства. Знал это и Толстой, который по молодости пил очень много, но потом совсем отказался от спиртного. Мы уже говорили, что великий проповедник все зло мира приписывал привычке людей одурманивать себя вином, табаком, наркотиками.

Он был уверен, что люди пьют не со скуки, не ради удовольствия, а чтобы заглушить свою совесть, и верил, что мир можно было бы исправить, если бы люди вели здоровый образ жизни.

Врач Готфрид Бенн полагал иначе: «Если подумать, то весь творческий продукт человечества произведен психопатами, алкоголиками, в состоянии опьянения или пароксизма. На каждом шагу — аномалии, пароксизмы, всплески отчаяния, фетишизма. Невольно спрашиваешь: да существуют ли здоровые гении?!»

## СТРАХ БОЛЕЗНИ И СМЕРТИ

Одно из распространенных заблуждений нашего времени состоит в том, что в прошлом у людей якобы не было такого страха перед болезнями и смертью, как у современного человека, они, мол, не пытались избежать смерти, они были с ней, что называется, на короткой ноге. И, по меньшей мере, не только не забывали про «мементо мори», но совершенно осознанно включали эту категорию в философию жизни, в то время как наши современники стараются вовсе не думать о смерти. В прошлом кладбища располагались в центре деревни или во дворе церкви, т. е. в наиболее посещаемых местах, а в наши дни кладбища обычно выносят на окраины населенных пунктов, а то и далеко за их пределы, т. е. налицо очевидное стремление вывести смерть из сознания людей.

К тому же раньше, почти до конца XIX века, люди умирали дома в окружении родных и близких, а сейчас смерть настигает человека, как правило, на больничной койке.

Это все правильно и тем не менее совсем не говорит о том, что люди в прошлые времена легче смирялись с болезнью и смертью. И постулат, что раньше люди воспитывались в христианском каноне и рассматривали жизнь как подготовку к смерти, остается лишь чисто теоретическим.

На самом деле, люди всегда боялись смерти. Кстати, ее боялся и Иисус Христос. Трижды он молился Богу в день своего распятия: «Отец мой, если можно, отвори от меня эту муку». И перед самой смертью он в отчаянии говорит:

«Мой Бог, почему ты оставил меня?» Но, может быть, именно его отчаяние и страх делают его таким человеческим?

Конечно, существовали времена и обстоятельства, когда людям приходилось преодолевать страх смерти, и тогда мы видим примеры того, как люди героически или спокойно встречают смерть, но это исключение. К таким исключениям можно отнести страшные годы Великой Французской революции. Аристократов, приговоренных к смерти, тысячами тащили на гильотину; бытовало даже выражение «поклониться мешку», потому что отрубленные головы собирали в мешки. «Черт побери, — говорили парижане, — эти собаки подымают мужественно. Неприятно, что аристократы выказывают такое присутствие духа. Была среди них одна цыпочка, всего-то лет двадцать, свежая, как роза, так она взошла на эшафот, как будто ее пригласили на танец».

В те годы во Франции многие люди умирали с поразительным мужеством и стойкостью. Аббат Карришон, который у самой гильотины отпускал грехи молодым аристократкам, рассказал о казни жены маршала де Нуайе герцогини Эйенской и ее дочери виконтессы де Нуайе которых казнили в апреле 1794 года:

«Я находился на лестнице, у которой стояла первая жертва — старый человек с гривой седых волос, высоко-го роста, с добрым выражением лица. Это был генеральный откупщик. Рядом с ним была величественная дама, которой я не знал, напротив — жена маршала в траурном платье. Они сидели на камнях или деревянных чурбаках. Всех остальных поставили рядами под деревянным настилом эшафота. Я искал глазами дам, нашел только мать — у нее были закрыты глаза, на лице ее читалось возвышенное спокойствие, готовность принять уготованную ей судьбу. Я думал, она будет дрожать от страха, ничего подобного, она держалась так, словно собиралась спуститься в зал, где обедал муж. Ее облик стоит перед моими глазами. Я хотел бы, чтобы Господь послал мне такое мужество!

Все вышли из повозок, сейчас начнется казнь. Веселящаяся толпа с грязными, все более громкими шутками усиливала муку смертной казни, которая сама по себе без-

болезненна, но как ужасны глухие удары топора и вид обильно льющейся крови! Палач и его подручные поднимаются на эшафот и делают последние приготовления. Палач надевает кроваво-красный плащ. Когда все готово, старый человек с помощью подручного поднимается вверх. Палач хватает его за левую руку, здоровенный подручный — за правую, второй — за ноги. Через мгновение старик уже лежит на животе, голова отрублена, тело сбрасывается в огромную повозку, залитую кровью. Итак, бойня началась... Какое ужасное зрелище! Жена маршала поднялась третьей. Ей надрезали ворот платья, чтобы освободить шею.

Десятой поднялась герцогиня Эйенская. Как же она радовалась, что не увидит смерти дочери, и как дочь была довольна тем, что не опередит мать! Палач хотел распустить ее волосы, но не вытащил заколки и рванул изо всех сил. Ей было так больно, что слезы выступили на глаза. Как только исчезла мать, ее место заняла дочь. Как трогательна белая, как лилия, поразительно красивая женщина! Она казалась еще моложе, чем была в действительности, и вела себя, как покорный ягненок, который идет под нож мясника. Как и с матерью, палач забывает вынуть заколку, та же боль. И, боже! Сколько крови вытекло из ее шеи! Но теперь она уже на небесах, — говорю я себе, когда тело сбрасывают в ужасный гроб. А ужасная бойня продолжается. За двадцать минут сорок или пятьдесят человек поднялись на эшафот, двенадцать из них обезглавили».

Известно, что французский король Людовик XVI, его жена Мария Антуанетта и многие, многие другие также мужественно вели себя перед смертью. Но вот за несколько лет до того Иоганну Фридриху фон Штрунзее, врачу и любовнику датской королевы Каролины Матильды, приговоренному в Копенгагене к смерти, оказалось очень трудно взойти на эшафот. Правда, перед этим он видел, как казнили его друга и помощника. После оглашения указа тому отрубили сперва правую руку, потом голову, а затем тело разрезали еще на четыре части, как это делают мясники на скотобойне. И каждый удар пронзал сердце Штрунзее.

Остается удивляться, как он не потерял сознание, как случилось с восемнадцатилетним Фридрихом, будущим прусским королем в 1730 году в Кюстрине. Отец велел Фридриху присутствовать при казни его друга двадцатишестилетнего лейтенанта Ганса Германа Катте, который хотел помочь Фридриху сбежать от отца. Когда Катте уже стоял перед палачом, Фридрих крикнул из окна своей тюрьмы: «Мой дорогой Катте, я тысячу раз прошу у тебя прощения! Ради Бога, прости меня». Сам Катте не терял присутствия духа: «Не надо просить прощения, мой принц, — крикнул он, — я с радостью умру за Вас». Зачитали приговор, и, когда палач отрубил Катте голову, Фридрих без чувств упал на пол тюремной камеры.

Через одиннадцать лет Фридрих — он стал к этому времени прусским королем — выиграл свою первую битву против австрийцев. Это произошло 10 апреля 1741 года в Силезии под Мольвицем. Так, по крайней мере, пишут все учебники истории и изрядно искажают истину: победу в Мольвицком сражении никак нельзя приписать Фридриху. Двадцатидевятилетний полководец не участвовал в битве, точнее, участвовал лишь в самом ее начале. Первые четыре часа он руководил сражением, но настолько бездарно, что среди солдат началась паника. Фридрих посчитал сражение проигранным и потерял присутствие духа. Фельдмаршал Шверин посоветовал ему позаботиться по крайней мере о собственной жизни, и Фридрих с несколькими спутниками покинул армию. По пути он сообщил резервному отряду, что битва проиграна.

Однако через несколько минут после бегства короля на поле боя произошел перелом, который фельдмаршал Шверин сумел обратить в победу. Он тут же послал гонца за королем, но тому не удалось его догнать. Сейчас трудно себе представить верховного главнокомандующего, который удирает с такой прытью, что едва не попал в расположение австрийцев, и которого десять часов не могли разыскать!

Будем справедливы к герою прусской истории, такое случилось с ним в первый и последний раз. Мы хотели только показать, что и знаменитым людям не чужд страх перед смертью.

Боялись смерти и римляне, они настолько не любили говорить о ней, что даже на слове «смерть» стояло табу. Во время обряда похорон про мертвого не говорили: «Он умер», а говорили: «Он жил».

Бисмарк тоже не любил, чтобы ему напоминали о смерти. Когда отмечали его шестидесятилетний день рождения, баронесса фон Шпитцемберг, постоянный гость Бисмарков, предпочла не явиться, потому что носила траур по одному из родственников. Она нанесла визит Бисмаркам накануне дня рождения канцлера и потом записала в дневнике: «Я была у Бисмарков вчера, чтобы пожелать счастья новорожденному, ведь они такие суеверные и не желают, чтобы за праздничным столом сидели люди в трауре».

Еще хуже дело обстояло с Гете. С юных лет он проявлял чрезмерную чувствительность ко всему неприятному. Решив искоренить в себе это качество, в двадцать один год Гете начал посещать семинар по анатомии. Но и это не помогло. Всю жизнь Гете патологически боялся ран, болезней и тем более смерти. Вплоть до того, что у него начиналась истерика. Он не выносил вида болеющих или умирающих людей, не навещал их, даже если речь шла о близких. Когда заболела туберкулезом падчерица его жены, Гете побоялись об этом сообщить, хотя она долгие годы жила в его семье. Не сказали ему и о том, что она умерла. Гете узнал о смерти падчерицы только после похорон, когда все уже было кончено. Когда его жена Христиана умирала от уремии и два дня была между жизнью и смертью, Гете все это время пролежал в своей комнате с катарром. Он посылал к Христиане других, и те сообщали ему о ее состоянии. Гете записал в дневник:

«Моя жена при смерти. Последний страшный бой. Она отошла к обеду. Пустота и мертвая тишина во мне и вне меня. Приехали принцесса Ида и Бернхарды, надворный советник Мейер, Ример. Вечером весь город в огнях. Жена с двенадцати часов в морге, я целый день в постели». Он не только не хотел видеть ничего связанного со смертью жены, он хотел как можно скорее все забыть. Уже на следующее утро ее похоронили. Гете упоминает об этом в

своем дневнике одной-единственной фразой и сразу переходит к другим событиям: «Жену похоронили в четыре утра. Разные письма. Фрагменты из «Рамаяны» майору Кнебелю. Собирал бумаги в папки. Был в саду. Продумывал план наблюдений и опытов с цветами. Днем обедал с Августом». О смерти жены, о собственной болезни больше ни слова.

Гете заболел и тогда, когда умер Шиллер. Поскольку никто из окружения Гете не решался говорить с ним о болезнях и смерти, никто ему не сказал и о смерти поэта. Но Гете конечно же чувствовал, что происходит. Гнал он от себя всякие сообщения, когда смертельно заболел его друг и сотрудник министр Кристиан Готтлоб фон Фойгт. Когда Фойгт попросил навестить его и написал: «Дорогой Гете, мы всегда будем вместе, настолько родственны наши души», Гете сперва замолчал, а потом уклончиво ответил: «Когда самые близкие нам люди готовятся в дальнюю дорогу, мы невольно пытаемся воспрепятствовать этому. Разве не естественно в гораздо более серьезном случае уклониться от сборов в бесконечно долгий путь?»

Конечно же такое поведение объяснялось страхом перед собственной кончиной. Эссе Лессинга: «Как древние изображали смерть», Гете очень понравилось, особенно он отметил «мысль, что древние видели в смерти сестру сна». Такая мысль соответствовала убеждению Гете, что смерть не означает конца существования. «Все понимание моей деятельности дает мне основание полагать, что смерть не положит конца моему существованию, — говорил он Эккерману. — Ведь если я буду работать до конца жизни, природа будет просто обязана предложить мне иной способ существования, если мой нынешний дух окажется не в состоянии тянуть лямку дальше».

Однако эта граничащая с манией величия идея не давала подлинного утешения. На восемьдесят втором году жизни Гете умер, проведя последние дни в мучительном страхе, а отнюдь не в олимпийском спокойствии и надежде на выздоровление. Сохранилась запись его врача, которую долгое время оставляли без внимания: «Печальная картина пред-



ставилась моему взору. Старый человек метался в ужасном страхе то в кровати не в силах найти более удобное положение, то в кресле-качалке, что стояло рядом с кроватью. Боль в груди заставляла его то стонать, то громко кричать. Черты лица исказились, кожа приобрела пепельно-серый оттенок, запавшие глаза тусклого и мутного цвета выражали смертельный ужас...»

Скорее всего, причиной смерти Гете был инфаркт. Мы говорили уже, как неохотно и почти всегда избегая это слово, он говорил о смерти; также не любил он говорить и о болезнях, стараясь находить для них эвфемизмы. Он толковал о «муках», о «застарелых ранах», о «запахе болезни», как, например, изъяснялся он в связи с болезнью Шиллера. Когда в семьдесят три года он перенес инфаркт миокарда с перикардитом, он говорил, что на него «навалилось болезненное вещество». Врачам поэт не доверял: «Старайтесь, отработывайте на мне свое искусство, спасти меня вам не удастся». Он больше верил в собственные силы, в способность организма противостоять болезни и вернуться в прежнее состояние, для чего часто отправлялся на лечебные воды в Карлсбад и Марианске-Лазне.

Гете старательно исключал из своей жизни болезнь, не допускал самой ее возможности, даже мысленно. Только так он мог воспрепятствовать тому, чтобы болезнь приняла какую-то конкретную форму. И он поступал совершенно правильно: ведь многие люди боятся именно какой-то определенной болезни, причем настолько, что ею и заболевают.

Вспомним Пабло Пикассо. Как рассказывает спутница долгих лет его жизни Франсуаза Жило, он страшно боялся заболеть раком. Каждое утро она вела с ним беседу, цель которой сводилась к тому, чтобы убедить Пикассо, что он ничем не болен. «Вытащить его утром из постели, — вспоминает Жило в своей книге «Жизнь с Пикассо», — было тяжелейшим делом. Пикассо просыпался недовольный, что надо вставать, недовольный жизнью вообще; приходилось прибегать к ритуальным, чуть ли не молитвенным уговорам, которые повторялись изо дня в день с удручающей монотонностью».

Отказываясь подниматься с постели, Пикассо стонал: «Ты представить себе не можешь, как я несчастен. Нет на свете более несчастного человека. А я к тому же болен. Боже мой, если бы ты знала, как я страдаю!»

А между тем ему предстояло еще жить и жить. Франсуаза вспоминает: «В 1920 году у него обнаружилась язва, которая иногда давала себя знать, но, когда Пабло начинал перечислять болезни, которые ему угрожают, первым делом он говорил: «У меня что-то с желудком. Я думаю, это рак».

После этого он обрушивался на своего врача Гутмана: «Если бы он хоть немного думал о своих пациентах, он был бы сейчас здесь. Он должен приходить каждый день. Но его нет как нет. А когда приходишь к нему на прием, слышишь всегда одно и то же: «Дорогой мой, вам совсем не так плохо, как вы думаете». Мало того, знаешь, что он делает? Он показывает мне свою библиотеку, свои раритеты. Да зачем мне врач, который хвалится прижизненными изданиями писателей! Мне нужен врач, который интересуется мною, а не книгами. А ему интересна только моя живопись. Лучше бы сказал, как обстоит дело с моим здоровьем. Я просто в отчаянии. Зачем я вообще встаю? Такая жизнь, как у меня, невыносима».

Франсуаза пыталась его утешать, но достигала лишь обратного результата: «Нет, — начинала я, — ты совсем не так уж болен. Конечно, с желудком что-то не в порядке, но явно ничего серьезного. И врач тебя очень любит». Тут Пабло принимался кричать: «Как же! Он даже утверждает, что мне можно пить виски! Вот как он обо мне заботится. Ему должно быть стыдно. Ему вообще наплевать на меня!» — «Ну, зачем же так. Он просто хочет доставить тебе удовольствие». — «А, вот в чем дело. Так я ни капли не выпью, от этого мне будет хуже».

«И так каждое утро, — продолжает Франсуаза. — Не меньше часа я приводила все новые и новые аргументы, пока они не исчерпывались до конца, причем исчерпывались не только аргументы, но и мои силы — такой разбитой я себя чувствовала. Тут Пабло вдруг вставал и весь день пребывал в прекрасном настроении — вплоть до следующего утра».

В прежние века люди не так боялись рака (то ли он реже встречался, то ли его хуже распознавали, чем в наши дни), гораздо больше опасались всяких эпидемических болезней — таких, как чума и холера. Во время эпидемии люди, чтобы не заразиться, спасались бегством, если такое было возможно. Литературный пример тому — знаменитый «Декамерон» Боккаччо, сборник новелл, изданный в 1353 году. Боккаччо рассказывает, как знатные флорентийцы покинули город, пораженный чумой, и удалились в сельское поместье, где и проводят время, рассказывая друг другу разные истории. Эта сотня веселых историй и составляет «Декамерон». Поводом к созданию цикла была чума, которая пришла в Европу из Китая и за несколько лет унесла больше четверти всего европейского населения, примерно 25 миллионов человек. В одной Флоренции, где жил Боккаччо, от чумы умерло более ста тысяч жителей. Боккаччо описал этот страшный мор, который поразил город: «Ничего не могли с ней поделать догадливость и предусмотрительность человеческая... советы медиков, как укрыться от заразы; ничего не могли с ней поделать и частые усердные моления богобоязненных жителей... в начале весны страшная болезнь начала оказывать свое действие. Если на Востоке непременно знаком скорой смерти было кровотечение из носа, то здесь начало заболевания ознаменовывалось и у мужчин, и у женщин опухолью под мышками и в паху, разраставшимися до размеров яблока средней величины или же яйца, — у кого как, — народ называл их бубонами»<sup>1</sup>. Из этих наростов чумной яд распространялся по всему телу. Впоследствии болезнь приняла другие формы: на руках или на бедрах проступали черные или синеватые пятна, расходившиеся постепенно по всему телу. Если раньше опухоль была верным признаком надвигающейся смерти, так теперь каждый, кто обнаруживал у себя пятно, знал, что умрет. Никакие врачи, никакие лекарства не помогали. Мало кому удавалось выжить, большинство погибало спустя три дня

---

<sup>1</sup>Перевод Н. Любимова.

после появления первых признаков. Беда заключалась еще и в том, что болезнетворные бактерии переносились с больного на здорового человека, как огонь на сухое дерево, притом не только при прямом контакте — достаточно было коснуться платья или вещей больного. Поэтому все стремились держаться подальше от заболевших. Некоторые полагали, что умеренный образ жизни повышает сопротивляемость организма. Люди объединялись в коммуны и жили обособленно от всех в домах, где не было больных, наслаждались вкусными блюдами и тонкими винами, но при этом старались соблюдать меру. Никто не имел доступа в эти дома, не приносил вестей о болезнях и смертях. Другие, напротив, считали, что наилучшее лекарство — пить как можно больше, петь и веселиться, потворствовать всем своим желаниям и насмеяться над всем подряд. Злосчастная болезнь совершенно меняла психологию людей, брат предавал брата, дядя — племянника, жена — супруга. Отцы и матери боялись приблизиться к больным детям и ухаживать за ними, поэтому умирали и те, которые выжили бы при лучшем уходе. Люди сотнями умирали прямо на улицах, другие проявляли не печаль и горе, а равнодушие и презрительный смех. Для такого большого числа трупов, которые ежедневно и ежечасно сносили в церковный двор, на кладбищах не хватало освященной земли, и поэтому вырывали просто большие ямы, куда сотнями скидывали смердящие тела. Некогда пышные дворцы, дворянские поместья, блиставшие нарядными дамами, кавалерами, кишевшие суетливыми слугами, опустели.

Придворный врач папы Клементия VI Ги де Шолиак писал: «Эпидемия — настоящий позор для врачей, которые ничем не могут помочь больным, особенно когда даже боялись навестить их, чтобы не заразиться самим».

И так было всегда, когда эпидемии обрушивались на многострадальную Европу, хотя уже и не уносили столько жертв. Однако страх перед чумой и смертью остался. Так что не приходится удивляться, что, например, художник Альбрехт Дюрер три раза уезжал за границу, когда в его родном Нюрнберге появлялись чумные больные. Первый

раз это произошло осенью 1494 года. Тогда Дюрер спасался в Италии. Позднее биографы много писали о поездке художника в страну муз с образовательными целями, которая на самом деле и была таковой, разве что была вызвана банальным страхом перед эпидемией. Любопытно отметить, что Дюрер уехал один, оставив дома жену, на которой женился всего за несколько месяцев до того. Дюрер вернулся весной 1495 года, когда болезнь отступила. Через три года он завершил свою знаменитую картину «Апокалипсис».

К концу лета 1505 года в Германии снова появляется чума. Стоило эпидемии протянуть свои щупальца к Нюрнбергу, как Дюрер снова бежит в Италию. И снова оставляет жену стеречь дом, причем на целых полтора года.

В третий раз чума показала свой зловецкий лик в 1520 году. На этот раз Дюрер уезжает в Нидерланды, на сей раз вместе с женой. Возможно, Дюрер не туда поехал, потому что там его поразила «необыкновенная болезнь», о которой он ни от кого не слышал. Болезнь сопровождалась высокой температурой, слабостью, болями и депрессией. Через два года в одном из писем Дюрер снова упоминает странную болезнь с приступами жара. Сегодня медики, возможно, диагностировали бы его болезнь как малярию, во всяком случае, после этой поездки Дюрер уже никогда не чувствовал себя вполне здоровым, он все больше слабел и иногда впадал в полное изнеможение. Однако до последнего дня художник не выпускал из рук кисти, так что, когда в возрасте пятидесяти семи лет он умер, все говорили о его скоростижной смерти.

Спустя триста лет еще один знаменитый человек сделал попытку убежать от болезни. Мы имеем в виду Роберта Шумана, который пытался спастись от холеры, которая свирепствовала в Германии в начале тридцатых годов прошлого века и, по некоторым данным, свела в могилу Гегеля. Шуман тогда был совсем молодым человеком, ему было двадцать три года, и от страха он совершенно потерял голову. Дело в том, что за год до этого с ним приключилась другая беда — внезапный паралич правой руки. Потом

рука восстановила подвижность, но один палец так и не пришел в норму. Шуман бегал от одного врача к другому, пытался лечиться у знахарей. Он был в отчаянии, ведь он готовил себя к карьере пианиста! Позднее он, правда, напишет матери: «Не беспокойся насчет пальца. Писать музыкальные произведения я вполне могу и без него, а вести жизнь концертирующего виртуоза — занятие малопривлекательное».

Осенью 1833 года Шуман все еще был под впечатлением поразившей его хвори. А когда в придачу услышал о холере, совсем запаниковал. Он начал немедленно хлопотать о заграничном паспорте, и хотел уехать во Францию или Италию. Мать отговаривала его от этих планов, умоляла Роберта преодолеть страх, понимая, что страх — наилучший помощник болезней. Однако Шуман настолько боялся подхватить холеру, что чуть с ума не сошел и не наложил на себя руки, выбросившись из окна. К счастью, до этого не дошло, но с тех пор Шуман старался жить в квартирах не выше второго-третьего этажа.

Отчаянно боялся болезней австрийский поэт Адальберт Штифтер. С дотошностью меланхолика пятидесятилетний писатель записывает в дневник все детали своего душевного и физического состояния. И в дневнике, и в письмах он постоянно жалуется на «нервное расстройство», полагая, что причиной тому — изнурительная служба. Штифтер был советником по вопросам школы и очень много сил отдавал реформе образования, но глупость и высокомерие начальников не позволяли реализовать его великолепные идеи. Недовольство своей службой настолько его угнетало, что Штифтер, не без юмора называвший себя «мешком на ножках», внезапно стал худеть. Лицо приобрело желтоватый оттенок, начались приступы удушья и страха. Домашний врач объяснял его состояние недостатком движения и пристрастием к еде, потом заподозрил болезнь печени и прописал курортное лечение.

В Карлсбаде Штифтер поправил свое здоровье, но отправился с вод не к жене в Линц с его «туманами и миазмами», а в Баварский лес, прельстивший поэта своей

«отличной водой и несравненным воздухом». Здесь он создал второй том поэмы «Витико». К тому же в Линце свирепствовала дифтерия, и он боялся заразиться. Штифтер писал в министерство письмо за письмом с прошениями о продлении отпуска, поскольку не чувствовал себя в состоянии приступить к служебным обязанностям. Его нервы, по словам Штифтера, так напряжены, что «он пугается любого шороха и боится всего на свете». Вот примечательное письмо Штифтера от 21 октября 1865 года:

«Поскольку в конце октября мой отпуск заканчивается, осмеливаюсь приложить врачебное заключение, которое свидетельствует о том, что вступление в должность сейчас было бы для меня преждевременным, и предписывает мне покой и пребывание на природе. В связи с болями в желудке по рекомендации врачей я, начиная с весны, живу в Карлсбаде. К концу августа обнаружилось положительное воздействие чистого воздуха и незамутненной воды, которыми отличается Баварский лес...

12 октября я вернулся в Линц и, начиная с 15-го, чувствую сильное давление в груди и нарушение в пищеварении. Поэтому 15-го я вынужден был бежать в Кишлаг, что лежит на высоте трех тысяч футов над уровнем моря и отличается замечательной водой из источников, пробивающих себе путь в гранитных скалах. Давление сразу же прекратилось и больше меня не тревожит».

Штифтеру было уже шестьдесят лет, и вскоре его отправили на пенсию. Зиму поэт провел в Баварском лесу, на следующий год снова поехал в Карлсбад. «Мое здоровье с каждым днем улучшается», — констатирует он. И все же он находится в постоянном страхе, и стоило ему прочесть в газетах о бешеной собаке, он незамедлительно пишет жене, оставшейся в Линце с маленькой собачкой: «Ни в коем случае не выпускай Пуци на улицу. Пусть бегает только по саду, а лучше всего носи ее на руках».

Физически он чувствовал себя все лучше и лучше. «Только нервы стали не такими железными, как прежде, — жалуется он жене, — всякая малость приводит меня в беспокойство». Прочитав, что где-то в мире вспыхнула эпиде-

мия холеры, как бы далеко от Карлсбада это ни случилось, Адальберт Штифтер приходил в неопишуемое волнение: «Если бы холера не появилась на севере Европы, как бушевала она в прошлом году на юге, я был бы спокоен и счастлив. Но ведь эта болезнь — подкодная змея, которая прячется в укромном месте, а потом вдруг кусает человека. Помню, что одно время жил в Вене, не подозревая, что в этом городе были случаи холеры, и эта мысль мучит меня беспрестанно».

Штифтер понимал, что выглядит со своими страхами недостойно, поэтому добавляет: «Собственно говоря, во мне живет страх за тебя. Газеты, которые я получаю из Линца, сообщают, что в Вене уже зарегистрировано несколько случаев». Он умоляет жену немедленно приехать к нему, как только станет известно, что в Линце тоже замечена холера. «Только не жди, пока она начнет свирепствовать вовсю, ведь человек, который собрался бежать из города, может уже быть переносчиком болезни», — заканчивает он, пугаясь за себя.

Жена отвечает: «Пока о холере ни слуху ни духу, ты можешь быть абсолютно спокоен». Но Штифтер не успокаивается. Он пишет жене письмо за письмом, порой по два в день. Он неизменно заверяет ее в своей любви, говорит, как горько ему жить вдали от жены, но страх удерживает его на месте. Новый случай холеры, о котором пишут газеты, укрепляет Штифтера в его опасениях:

«Случай, о котором ты мне написала и который был подробно расписан во всех газетах о том, что одна женщина умерла от холеры во время поездки на пароходе из Вены в Линц и ее пришлось похоронить на кладбище в одном из сел, убедительно показывает, насколько я был прав в своих опасениях. Это проклятие снова заносит над человечеством свою костистую лапу. Пишут, что и пароход, и морг, где лежала женщина, и даже могилу тщательнейшим образом продезинфицировали. Хочется спросить этих господ, они действительно подумали о всех местах, требовавших дезинфекции. Продезинфицировали ли они сами себя и могильщиков, которые несли тело и оставшиеся от женщины платья? Господь, смилуйся над нами, не дай болезни прокрасться в Линц, в наш дом и окрестности! Прошу тебя, будь очень



аккуратна, не упускай из вида ничего и не отмахивайся от моих предостережений, как от надоедливой мухи...»

Штифтер настойчиво упрашивал жену покинуть город, и, когда в Линце действительно отметили несколько случаев холеры или «рвотного поноса», как предпочитал называть эту болезнь Штифтер, она приехала в Карлсбад. Но ей не сиделось на курорте, хотелось вернуться в родной город, и Штифтер спрашивает своего врача, можно ли Амалии уехать в Линц. Что до него самого, то поэт был тверд: «Я только тогда вернусь в Линц, когда он полностью очистится от болезни; мои нервы по-прежнему натянуты, как струна, и я боюсь холеры, как сибирской чумы».

Амалия Штифтер вернулась в Линц, поскольку там было зарегистрировано всего десять случаев и эпидемия сошла на нет. Муж оставался в Карлсбаде еще четыре недели, каждый день внимательно просматривал все газеты и все равно не верил, когда писали, что Линцу больше ничего не угрожает. В ноябре врач Эссенвайн сообщил ему, что заболела Амалия. Его охватила настоящая паника. Он умоляет врача каждый день писать ему о состоянии жены. Поэт опасался самого плохого, но в то же время не мог тронуться с места, боясь заразиться. Когда выяснилось, что у Амалии банальная простуда, он просит прощения у своей «дражайшей любимейшей супруги»: «Я очень боялся, что свидание с тобой станет непомерно большой эмоциональной нагрузкой для моих нервов».

И все-таки надо было возвращаться, и Штифтер даже наметил день отъезда. Но тут повалил снег. Снегопад длился несколько суток, и Штифтер сообщает Амалии, что снег не позволяет ему отправиться в дорогу. Врачу он признается, что истинная причина — боязнь заразиться холерой, которая никак его не отпускает.

По счастью для Амалии, Штифтер вдруг испугался и снега и поэтому, наконец-то, отправился домой. В Линце он не выдерживает и трех дней: на глаза ему попала заметка о том, что есть еще несколько подозрений на холеру. «Мои нервы не слушаются рассудка», — оправдывается он перед Амалией в письме, написанном по дороге из Линца.

Лишь в декабре 1864 года Штифтер окончательно вернулся домой, спустя более полугода с сообщения о холере.

Штифтер считал свой страх перед болезнью «смехотворным», хотя на самом деле ничего смешного в нем не было. Ведь смертельная болезнь — в 1868 году ее называли «уплотнением печени», потом циррозом печени, а в наши дни подозревают, что это был вялотекущий туберкулез, — уже дремала в теле поэта.

Он много лет жаловался на периодические подъемы температуры, на ночную потливость, плохое пищеварение и «нервную слабость». Теперь очевидно, что его страх перед холерой был вызван ощущением незащитности перед болезнью.

Часто жаловался на болезни и Н. В. Гоголь. Аксаков вспоминает:

«Дорогой он удивил меня тем, что начал жаловаться на свои болезни и сказал даже, что болен неизлечимо. Смотря на него изумленными и недоверчивыми глазами, потому что он казался здоровым, я спросил его: «Да чем же вы больны?» Он отвечал неопределенно и сказал, что причина болезни его находится в кишках».

То же самое можно сказать и о Шумане, и о Дюрере, которые с молодости не отличались крепким здоровьем. И уже наверняка это относится к знаменитому сказочнику датчанину Гансу Христиану Андерсену. У Андерсена было слабое телосложение. Это был ярко выраженный ипохондрик. За своими недомоганиями он следил так же тщательно, как Адальберт Штифтер, и все пунктуально заносил в дневник. Вот, например, одна из записей: «Встал в полдень. На дворе светит солнце. Господи, помоги укрепить мой дух в любви к человечеству! (Сегодня какой-то жидкий стул...)»

Андерсен не переставал жаловаться на плохое здоровье, его дневники напоминают истории болезней. Он отмечает недомогание, плохой сон, головокружение, повышенную температуру, упадок сил. Заметим, что его самочувствие особенно ухудшалось, если ему отказывали в признании: «Моя душа счастлива только тогда, когда все мною восхищаются, достаточно одного сомневающегося

голоса, как я падаю духом». Андерсен боялся сойти с ума. Этот страх имел под собой основание, его дед по отцовской линии, да и рано умерший отец страдали психическим расстройством. «Я очень боялся дедушки с его помутнившимся рассудком. Он только однажды заговорил со мной и обратился ко мне почему-то на «Вы». Дед вырезал из дерева странные фигурки: людей со звериными головами, животных с крыльями, причудливых птиц. Он складывал свои поделки в корзину и уходил в деревню, где его приветливо встречали крестьянки. Они кормили его кашей и ветчиной за то, что он раздавал детям свои искусные поделки».

Сам этот факт, возможно, не вызвал бы серьезных последствий для психики писателя, но вот что особенно напугало слабенького и робкого мальчика: «Однажды, когда я снова вернулся в Оденсе, я услышал, как уличные мальчишки дразнили деда. Я от страха спрятался под лестницей, а они с воплями пронеслись мимо. Я понял, что пошел в деда».

Деда Андерсена, который нередко бродил по улицам города в странном костюме, распевая песни, хорошо знали в городе, и мальчик страшно переживал, когда кто-нибудь из учеников говорил вдруг: «Он совсем как его дедушка». В дневнике Андерсен снова и снова возвращается к этой мысли, к которой примешивается страх сойти с ума, а с возрастом, когда он внешне все больше стал походить на деда, эта мысль не оставляла писателя и приносила ему непрерывные муки.

Страх сойти с ума имел и еще одну причину, корнями также уходившую в далекое детство. Однажды в Оденсе он вошел в дом, где содержались «психи»: «Камеры располагались по сторонам длинного коридора, я опустился на корточки и заглянул в дверную щель — внутри сидела на соломенной подстилке нагая женщина. Ее волосы падали на плечи, она пела очень красивым голосом. Внезапно она вскочила и с криком бросилась к двери. Смотритель куда-то отошел, и я был один за дверью, по которой она изо всех сил била кулаками. Вдруг откинулась крышка прямоугольного проема, через

который ей давали еду. Проем находился прямо над моей головой, она глядела на меня и тянула ко мне руки. Я кричал от страха и прижимался к полу. Вид этой женщины и все это происшествие навеки запечатлелись в моей памяти. Я чувствовал, как она касается кончиками пальцев моей одежды. Когда вернулся смотритель, я был полумертв от страха».

И Андерсен не забыл этот страх. Уже взрослым сорокалетним человеком он увидел как-то перед своим окном в Копенгагене «бедного полубезумного юношу» и вновь, потрясенный, вспомнил о своем деде. Что бы из него, Андерсена, получилось, если бы он остался в Оденсе и «если бы силы фантазии, которая наполняла мою душу, не провела меня через лабиринты времени и обстоятельств». Он благодарно добавляет: «При виде этого несчастного идиота, стоявшего у меня перед окном, мое сердце сильно забилося, мысли устремились к Богу, исполненные благодарности за его доброту и любовь».

Страх перед смертью и болезнями существовал во все времена и является совершенно естественным. Важно, как человек справляется с ним. Немецкий философ Эммануил Кант тоже боялся болезней, тем более что отличался слабым здоровьем. Однако Кант не позволил страху завладеть собой, он не превратился в ипохондрика, напротив — как пишет его биограф Уве Шульц, он «расчертил свою жизнь системой координатных правил, которые поддерживали здоровье философа».

Кант был небольшого роста, всего метр пятьдесят семь. У него были впалые щеки, всю жизнь он страдал припадками удушья. В юные годы он нередко жаловался на сильное сердцебиение. Он был невероятно чувствителен, страдал аллергией, например, газета со свежим шрифтом вызывала у него насморк.

Учитывая свое слабое здоровье, Кант разработал систему правил, которым строго подчинил свою жизнь, как бы над ней ни насмешничали его друзья. Кант считал, что только размеренный образ жизни позволит ему побороть природные недуги. Спал он ровно семь часов и заставлял будить себя в пять

утра. Работал до часу. Потом подавали обед, к которому Кант всегда приглашал гостей. После обеда он занимался медитацией. Каждый вечер ровно в семь он выходил на прогулку. Прогуливался всегда один по той причине, что не хотел открывать рот, — а это было бы неизбежно, если бы он с кем-нибудь разговаривал, — чтобы не подвергать себя «ревматическим атакам», а также не приноравливаться к темпу ходьбы другого человека и не вспотеть. В десять вечера и ни минутой позже он ложился в постель.

Такой строгий распорядок дня выполнял роль своего рода корсета, благодаря которому Кант, страдавший прогрессирующим артериосклерозом сосудов мозга (а может быть, это была болезнь Альцгеймера), дожил до преклонного возраста. В семьдесят лет у него бывали галлюцинации и ночные кошмары, в которых ему виделись подосланные убийцы. Умер Кант от коллапса, причиной которого, скорее всего, было кровоизлияние в мозг.

Известный русский деятель начала XIX века граф Аракчеев очень боялся, что его отравят, и за обедом каждое блюдо сперва давал попробовать своей собаке Жучке, и после уже ел сам; даже когда подавали кофе, он сначала отливал немного собаке на блюдечко.

Великие люди, как и все смертные, всегда боялись болезней, и примеры тому можно множить и множить, но наша задача — не перечислить их все, а подчеркнуть, что все мы устроены одинаково. Такой страх преследовал, например, австрийского поэта-экспрессиониста Георга Тракля. Уже в гимназии он постоянно говорил о смерти, при малейшем поводе грозил наложить на себя руки. Тракль больше всего боялся, что его примут за мертвого и похоронят. Для этого у него были определенные основания — его не раз находили без чувств, в состоянии, близком к смерти. Однажды такой припадок беспамятства случился с ним на улице, и Тракль почти замерз. Дело в том, что поэт питал непреодолимую страсть к хлороформу, вероналу и другим наркотизирующим средствам. В одном из писем он умолял непременно прослушать его сердце, если вдруг покажется, что он мертв.

Жуткий страх быть похороненной заживо и прийти в себя в закопанном гробу испытывала мадам Неккер, жена министра финансов при короле Людовике XVI и мать писательницы Жермены де Сталь. А такие случаи бывали, ведь мадам Неккер была патронессой Парижского госпиталя, который и сейчас носит ее имя. Она знала, что, когда срочно следовало отыскать койку для вновь поступившего больного, умирающих быстренько клали в гроб, не особенно заботясь о том, умерли ли они на самом деле или нет. Чтобы не допустить этого, она даже написала целое руководство «О досрочных захоронениях».

Между тем госпожа Неккер по-прежнему страшилась такой судьбы и поэтому в завещании выразила желание, чтобы ее не похоронили, а забальзамировали. Многие годы она тщательно изучала эту проблему и потом все зафиксировала в своем завещании. Она и ее муж, которого она боготворила и с которым не хотела расставаться и после смерти, должны были быть захоронены в мавзолее с мраморной чашей, куда следовало поместить законсервированные в спирте тела ее и мужа Жака Неккера. Поскольку госпожа Неккер была уверена, что умрет раньше мужа, она подробно описала барону Неккеру, как следует поступить с ее телом: «Я умоляю тебя соблюсти все до малейших деталей. Сделай все в точности так, как я пишу. Не исключено, что моя душа будет бродить вокруг тебя, может быть, я смогу передавать тебе с того света пожелания людей, которые тебя любили». В конце она просила мужа регулярно навещать ее тело в мавзолее.

Когда баронесса умерла, барон Неккер, который давно уж не был министром финансов и жил в Швейцарии, в точности выполнил все ее инструкции. Тело забальзамировали, и оно находилось три месяца в доме, пока не построили мавзолей. Потом ее поместили в чашу со спиртом, прикрытую, как она и желала, стеклянным колпаком. Спустя десять лет за баронессой последовал и ее муж, которого тоже захоронили в том же мавзолее. Когда умерла их дочь Жермена де Сталь, мавзолей еще раз вскрыли, чтобы поместить туда и ее гроб.

Артур Шопенгауэр также боялся быть погребенным заживо и поэтому распорядился, чтобы его тело некоторое время лежало в открытом гробу.

Почти всю жизнь этот же страх преследовал Николая Гоголя. Последние годы жизни Гоголь провел в страшных муках, считая себя великим грешником и желая искупить свои грехи. Он считал свое тело греховным и решил лишить его материальной основы существования, попросту говоря, сначала ограничил себя в пище, а потом и вовсе прекратил есть. Более того, он лишил себя сна и не давал себе спать даже ночью.

И без того некрепкий организм Гоголя не выдержал таких нагрузок; ненормальный образ жизни привел к полному истощению. Гоголю, которому шел сорок третий год, начало мерещиться что-то несусветное, он лежал почти без движения, но, собравшись с силами, подполз к печи и сжег окончание второй части «Мертвых душ». 4 марта 1852 года, через восемь дней после этого невиданного поста, душа Гоголя отлетела.

Впрочем, тут есть серьезные сомнения. Когда много лет спустя гроб вскрыли, то по совершенно необычному положению скелета можно было предположить, что с ним произошло как раз то, чего писатель так страшился: его погребли живым.

Напоследок упомянем еще об одном страхе — страхе быть погребенным заживо.

Гении — всего лишь люди, люди из плоти и крови, люди, которые ошибаются, боятся, не могут справиться с трудностями повседневной жизни, у них те же муки, горести и радости. Два знаменитых социолога Вильгельм Ланге-Айхбаум и Вольфрам Курт написали книгу под названием: «Гений, заблуждения и слава», где говорится: «Быть просто человеком — ничуть не меньше, чем быть идиолом. Скорее, наоборот».

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Глава первая.</i> Гении — такие же смертные, как и мы .....	3
<i>Глава вторая.</i> Любители поестъ .....	26
<i>Глава третья.</i> Вечная нехватка денег .....	38
<i>Глава четвертая.</i> Риск в пути .....	50
<i>Глава пятая.</i> Беда с этими женщинами... ..	62
<i>Глава шестая.</i> Любовь к скачкам и цирку .....	77
<i>Глава седьмая.</i> Вера в предсказания, в ведьм, в астрологов .....	86
<i>Глава восьмая.</i> Тяга к курению .....	101
<i>Глава девятая.</i> Старость не помеха .....	113
<i>Глава десятая.</i> Под Новый год в голову приходят всякие мысли .	125
<i>Глава одиннадцатая.</i> И в могиле не нашли покоя .....	136
<i>Глава двенадцатая.</i> Беспечные отцы, плохие мужья, скверные семьянины .....	145
<i>Глава тринадцатая.</i> Стремилась к достатку .....	171
<i>Глава четырнадцатая.</i> Алкоголики или наркоманы .....	190
<i>Глава пятнадцатая.</i> Страх болезни и смерти .....	202



Популярное издание

## ГЕНИИ В ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ

Главный редактор *Л. Михайлова*  
Редактор *О. Кутасова*  
Корректоры *Т. Филиппова, Н. Миронова*  
Технический редактор *В. Нефедова*  
Компьютерная верстка *К. Дедич*  
*OCR - Давид Титиевский, июль 2017 г., Хайфа*

ЛР 064134 («КРОН-ПРЕСС») от 07.06.95.  
Подписано в печать с готовых диапозитивов 30.03.99.  
Формат 84×108<sup>1/32</sup>. Печать высокая. Бумага писчая.  
Гарнитура «Академия». Усл. печ. л. 11,76. Тираж 10 000 экз.  
Заказ 425.

ООО Издательский Дом «КРОН-ПРЕСС»  
103030, Москва, а/я 54

По вопросам реализации обращаться по адресу:  
127018, Москва, Сушевский вал, 49  
Тел./факс 289-73-68

Отпечатано с готовых диапозитивов  
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»  
150049, г. Ярославль, ул. Свободы, 97.



**Гении всегда вызывали  
у простых смертных обожание  
и преклонение, душевный трепет  
и даже суеверный страх.**

**Но какие они в частной жизни?  
Такие же тщеславные и заносчивые,  
застенчивые и робкие, обремененные  
предрассудками и слабостями,  
как и мы с вами?**

**Или это небожители, спустившиеся  
с заоблачных высот на нашу Землю?  
Книга, которую вы держите в руках,  
поможет вам разобраться  
во всех этих вопросах.**



21699

Гении в частной жизни

18

06.07.99



КРОН-ПРЕСС